

Александр Александрович Бестужев-
Марлинский

Кавказские повести



Александр Бестужев-Марлинский

Кавказские повести

«Public Domain»

Бестужев-Марлинский А. А.

Кавказские повести / А. А. Бестужев-Марлинский — «Public Domain»,

«Была джума. Близ Буйнаков, обширного селения в Северном Дагестане, татарская молодежь съехалась на скачку и джигитовку, то есть на ристанье со всеми опытами удалства; Буйнаки лежат в два уступа на крутом обрыве горы. Влево от дороги, ведущей из Дербента к Таркам, возвышается над ними гребень Кавказа, оперенный лесом; вправо берег, понижаясь не приметно, раскидывается лугом, на который плещет вечно ропотное, как само человечество, Каспийское море. Вешний день клонился к вечеру, и все жители, вызванные свежестью воздуха еще более, чем любопытством, покидали сакли свои и толпами собирались по обеим сторонам дороги...»

Содержание

| | |
|---------------------------------------|-----|
| Аммалат-бек | 5 |
| Глава I | 5 |
| Глава II | 13 |
| Глава III | 19 |
| Глава IV | 26 |
| Глава V | 34 |
| Глава VI | 40 |
| Глава VII | 46 |
| Глава VIII | 52 |
| Глава IX | 58 |
| Глава X | 63 |
| Глава XI | 67 |
| Глава XII | 70 |
| Глава XIII | 73 |
| Глава XIV | 77 |
| Примечание | 80 |
| Письма из Дагестана | 81 |
| Вечер на кавказских водах в 1824 году | 111 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 114 |

Александр Александрович Бестужев-Марлинский Кавказские повести

Аммалат-бек (Кавказская быль)

Посвящается

Николаю Алексеевичу Полевому

Будь медлен на обиду – к отмщенью скор!

Надпись дагестанского кинжала.

Глава I

Была джума¹. Близ Буйнаков, обширного селения в Северном Дагестане, татарская молодежь съехала на скачку и джигитовку, то есть на ристанье со всеми опытами удалства; Буйнаки лежат в два уступа на крутом обрыве горы. Влево от дороги, ведущей из Дербента к Таркам, возвышается над ними гребень Кавказа, оперенный лесом; вправо берег, понижаясь не приметно, раскидывается лугом, на который плещет вечно ропотное, как само человечество, Каспийское море. Вешний день клонился к вечеру, и все жители, вызванные свежестью воздуха еще более, чем любопытством, покидали сакли свои и толпами собирались по обеим сторонам дороги. Женщины, без покрывал, в цветных платках, свернутых чалмою на голове, в длинных шелковых сорочках, стянутых короткими *архалуками* (тюника), и в широких туманах², сидели рядами, между тем как вереницы ребят резвились перед ними. Мужчины, собравшись в кружки, стоя, или сидя на коленях³, или по двое и по трое, прохаживались медленно кругом; старики курили табак из маленьких деревянных трубок; веселый говор разносился кругом, и порой возвышался над ним звон подков и крик: «*Кань, кань* (Посторонись)» – от всадников, приготовляющихся к скачке.

Дагестанская природа прелестна в мае месяце. Миллионы роз обливают утесы румянцем своим, подобно заре; воздух струится их ароматом; соловьи не умолкают в зеленых сумерках рощи. Миндальные деревья, точно куполы пагодов, стоят в серебре цветов своих, и между них высокие раины, то увитые листьями, как винтом, то возникая стройными столпами, кажутся мусульманскими минаретами. Широкоплечие дубы, словно старые ратники, стоят на часах там, инде, между тем как тополи и чинары, собравшись купами и окруженные кустарниками, как детьми, кажется, готовы откочевать в гору, убегая от летних жаров. Игривые стада баранов, испещренные розовыми пятнами; буйволы, упрямо погрязающие в болоте при фонтанах или

¹ Джума соответствует нашей *неделе*, то есть *воскресенью*. Вот имена прочих дней магометанской недели: шамби (наша суббота), ихшамба (воскресенье), душамба (понедельник), сешамба (вторник), чершамба (среда), пханшамба (четверг), джума (пятница).

² Хотя, в существе, нет никакой разницы между мужскими шальварами и женскими туманами (*панталонами*), но для мужчины будет обидно, если вы скажете, что он носит туманы, и наоборот.

³ Обыкновенный образ сиденья у азиатцев на улице или перед старшим. А потому Н. М. Карамзин очень ошибся, переведя слова волынского летописца: «Зле те, Романе, на коленех пред ханом седиши» – «худо тебе, Роман, на коленях стоишь перед ханом». Конечно, сидеть на корточках было невесело для галицкого князя, но не так унижительно, как думает историк.

по целым часам лениво бодающие друг друга рогами; да там и сям по горе статные кони, которые, разбросав на ветер гриву, гордой рысью бегают по холмам, – вот рамы каждого мусульманского селения. Можно себе вообразить, что в день этой джумы окрестности Буйнаков еще более оживлены были живописною пестротой народа. Солнце лило свое золото на мрачные стены саклей с плоскими кровлями и, облекая их в разнообразные тени, придавало им приятную наружность... Вдали тянулись в гору скрипучие арбы, мелькая между могильными камнями кладбища... перед ними несли всадник, взвевая пыль по дороге... Горный хребет и безграничное море придавали всей картине величие, вся природа дышала теплою жизнью.

– Едет, едет! – раздалось из толпы, и все зашевелились.

Всадники, которые доселе разговаривали с знакомыми, ступив на землю, или нестройно разъезжали в поле, вскочили на коней и понеслись навстречу поезду, спускающегося с горы: то был Аммалат-бек, племянник тарковского шамхала⁴, со своею свитою. Он был одет в черную персидскую чуху, обложенную галунами; висячие рукава закидывались за плеча. Турецкая шаль обвивала под исподом надетый архалук из букетовой терма-ламы. Красные шальвары скрывались в верховые желтые сапоги с высокими каблуками. Ружье, кинжал и пистолет его блистали серебром и золотою насечкою. Ручка сабли осыпана была дорогими камнями. Сей владетель Тарков был высокий, статный юноша, открытого лица; черные *зильфляры* (кудри) вились за ухом из-под шапки... легкие усы оттеняли верхнюю губу... очи сверкали гордою приветливостию. Он сидел на червонном коне, и тот крутился под ним как вихорь. Против обыкновения, не было на коне персидского круглого, расшитого шелками чепрака, но легкое черкесское седло с серебром под чернетью, с расписанными потебнями и со стремянами черного хорасанского булата под золотою насечкою. Двадцать нукеров⁵ на лихих скакунах, в чухах, блестящих галунами, сдвинув шапки набекрень, скакали, избочась, сзади. Народ почтительно вставал перед своим беком и склонялся, прижимая правую руку к правому колену. Ропот и шепот одобрения разливался вслед ему между женщин.

Подъехав к южному концу ристалища, Аммалат остановился. Почетные люди, старики, опираясь на палки, и старшины Буйнаков обстали его кругом, стараясь вызвать на себя приветливое слово бека, но Аммалат ни на кого не обращал особенного внимания и с холодною учтивостью отвечал односложными словами на лесть и поклоны своих подручников. Он махнул рукой: это был знак начинать скачку.

Без очереди, без всякого порядка кинулись человек двадцать самых горячих ездоков скакать взад и вперед, гарцуя, перегоняя друг друга. То перерезывали они друг другу дорогу – и вдруг сдерживали коней, то вновь пускали их во всю прыть с места. После этого все взяли небольшие палки, называемые *джигидами*, и начали на скаку метать вслед и встречу противников, то ловя их на лету, то подхватывая с земли. Иные падали долой из седла от сильных ударов, и тогда раздавался громкий смех зрителей побежденному, громкие клики приветия победителю, иногда кони спотыкались, и всадники редко не падали через голову, выброшенные двойною силою коротких стремян. Затем началась стрельба.

Аммалат-бек все это время стоял поодаль, любуясь. Нукеры его один по одному вешивались в толпу джигитующих, так что под конец при нем осталось только двое. Сначала он стоял неподвижен и равнодушным взором следил подобие азиатской битвы, но мало-помалу участие стало разыгрываться в нем сильнее и сильнее... Он уже с большим вниманием смотрел на удалцов, стал ободрять их голосом и движением руки, вставать выше на стремянах, и, наконец, наездническая кровь закипела в нем, когда любимый его нукер не попал на всем скаку

⁴ Первые шамхалы были родственники и наместники халифов дамасских. Последний шамхал умер, возвращаясь из России, и с ним кончилось это бесполезное достоинство. Сын его, Сулейман-паша, владеет наследством просто как частным имением.

⁵ Нукер – общее имя для прислужников; но, собственно, это то же самое, что у древних шотландцев *Henchman* (*прибед-ренник*). Он всегда и везде находится при господине, служит за столом, режет и рвет руками жаркое и так далее.

в брошенную перед ним шапку, – он выхватил у своего оруженосца ружье и стрелой полетел вперед, увиваясь между стрелками.

– Раздайся, раздайся! – слышалось кругом, и все, как дождь, рассыпались по сторонам, дав место Аммалат-беку.

На расстоянии одной версты стояло десять шестов с повешенными на них шапками. Аммалат проскакал в один конец, крутя ружье над головою; но едва миновал крайний столб смелым поворотом, он встал на стремях, приложился назад – паф – и шапка упала наземь; не умеряя бега, он зарядил ружье, с брошенными поводками, – сбил шапку с другого, с третьего – и так со всех десяти... Говор похвал раздался со всех сторон, но Аммалат, не останавливаясь, бросил ружье в руки нукера, выхватил из-за пояса пистолет и выстрелом из него отбил подкову с задней ноги своего скакуна – подкова взвилась и, свистя, упала далеко назад; тогда он снова подхватил заряженное нукером ружье и велел ему скакать перед собою...

Быстрее мысли понеслись оба. На полдороге нукер вынул из кармана серебряный рубль и высоко взбросил его на воздух; Аммалат приложился вверх, не ожидая падения, но в то же самое мгновение конь его споткнулся со всех четырех ног и, бороздя пыль мордую, покати́лся вперед с размаха. Все ахнули – но ловкий всадник, стоявший стоймя на стремях, не тряхнулся, не подался вперед, как будто не слышал падения, – выстрел сверкнул, и вслед за выстрелом серебряный рубль улетел далеко в народ. Толпа заревела от удовольствия: «Игид! игид (Удалец)! Алла, Вал-ла-га!» Но Аммалат-бек скромно отъехал в сторону, сошел с коня и, бросив поводка в руки *джиладара*, то есть конюшего, велел сей же час подковать коня. Скачка и стрельба продолжались.

В это время подъехал к Аммалату эмджек⁶ его, Сафир-Али, сын одного из небогатых беков буйнакских, молодой человек приятной наружности и простого, веселого нрава. Он вырос вместе с Аммалатом и потому очень коротко обходился с ним. Он спрыгнул с коня и, кивнув головою, сказал:

– Нукер Мемет-Расуль измучил твоего старика безгривого жеребца⁷, – заставляет его скакать через ров шириною шагов семи...

– И он не прыгает? – вскричал нетерпеливый Аммалат. – Сейчас, сей же миг привести его ко мне.

Он встретил коня на полдороге; не ступая в стремя, вспрыгнул в седло и полетел к утесистой рытвине – доскакал, стиснул колена, но усталый конь, не надеясь на свои силы, вдруг повернул направо на самом краю, и Аммалат должен был сделать еще круг.

Во второй раз конь, подстрекаемый плетью, взвился на дыбы, чтобы перепрыгнуть через ров, – но замялся, заартачился и уперся передними ногами.

Аммалат вспыхнул...

Напрасно упрашивал его Сафир-Али, чтобы он не мучил бегуна, утратившего в боях и разъездах упругость членов, – Аммалат не внимал ничему и понуждал его криком, ударами обнаженной сабли; и в третий раз подскакал он к рытвине, и когда в третий раз стал с размаха старый конь, не смея прыгать, – он так сильно ударил его рукоятью сабли в голову, что конь грянулся наземь без дыхания.

– Так вот награда за верную службу, – сказал Сафир-Али, с сожалением глядя на издохшего бегуна.

– Вот награда за послушанье, – возразил Аммалат, сверкая очами.

Видя гнев бека, все умолкли и отсторонились. Всадники джигитовали.

⁶ Эмджек – *грудной, молочный брат*; от слова эмджек – *сосец*. У кавказских народов это родство священнее природного; за своего эмджека – каждый положит голову. Матери стараются заранее связать таким узлом надежные семьи. Мальчика приносят к чужой матери, та кормит его грудью – и обряд кончен – неразрывное братство начато.

⁷ Славная в Персии порода туркменских лошадей, называемая теке.

И вдруг загремели русские барабаны, и штыки русских солдат засверкали из-за холма. То была рота Куринского пехотного полка, отправленная из отряда, ходившего тогда в Акушу, возмущенную Ших-Али-ханом, изгнанным владельцем Дербента.

Рота сия должна была конвоировать обоз с продовольствием из Дербента, куда и шла горною дорогою. Ротный командир, капитан ***, и с ним один офицер ехали впереди. Не доходя до ристалища, ударили отбой, и рота стала, сбросила ранцы и составила в козлы ружья, расположась на привал, но не разводя огней.

Прибытие русского отряда не могло быть новостью для дагестанцев в 1819 году; но оно и до сих пор не делает им удовольствия. Изуверство заставляет их смотреть на русских как на вечных врагов – но врагов сильных, умных – и потому вредить им решаются они не иначе как втайне, скрывая неприязнь под личиною доброхотства.

Ропот разлился в народе при появлении русских; женщины окольными тропинками потянулись в селение, не упуская, однако ж, случая взглянуть украдкою на пришлецов. Мужчины, напротив, поглядывали на них искоса, через плечи, и стали сходиться кучками, разумеется потолковать, каким бы средством отделаться от постоя, от подвод и тому подобного. Множество зевак и мальчишек окружили, однако, русских, отдыхающих на травке. Несколько *кекху-дов* (старост) и *чаушей* (десятников), назначенных русским правительством, поспешили к капитану и, сняв шапки, после обычных приветов: «*Хош гяльды* (Милости просим)» и «*Яхишмусен тазамусен сен-немамусен* (Как живешь-можешь)», добрались и до неизбежного при встрече с азиатцами вопроса: «Что нового? *На хабер?*»

– Нового у меня только то, что конь мой расковался и оттого, бедняга, захромал, – отвечал им капитан довольно чисто по-татарски. – Да вот кстати и кузнец, – продолжал он, обращаясь к широкоплечему татарину, который опиливал уже копыто вновь подкованного Аммалатова бегуна. – Кунак, подкуй мне коня!.. Подковы есть готовые; стоит брякнуть молотком, и дело кончено в минуту!

Кузнец, у которого лицо загорело от горна и от солнца, угрюмо взглянул на капитана исподлобья, поправил широкий ус, падающий на давно не бритую бороду, которая бы щетинами своими сделала честь любому борову, подвинул на голове *аракчин* (ермолку) и хладнокровно продолжал укладывать в мешок свои орудия.

– Понимаешь ли ты меня, волчье племя? – сказал капитан.

– Очень понимаю! – отвечал кузнец. – Тебе надобно подковать свою лошадь...

– И ты сам должен подковать ее, – отвечал капитан, заметя в татарине охоту шутить словами.

– Сегодня праздник – я не стану работать.

– Я заплачу тебе за труды что хочешь, – но знай, что волей и неволей ты у меня сделаешь, что я хочу...

– Прежде всех наших идет воля Аллаха, а он не велел работать в джуму. Довольно грешим мы из выгоды и в простые дни... так в праздник не хочу я себе покупать за серебро уголья.

– Да ведь ты работал же сейчас, упрямая башка! Разве не равны кони? Притом же мой настоящий мусульманин. Взгляни-ка тавро: кровный карабахский...

– Кони все равны, да не равны те, кто на них ездит. Аммалат-бек мой *ага* (господин).

– То есть, если бы вздумал отнекиваться, он бы велел обрезать тебе уши; а для меня ты не хочешь работать в надежде, что я не смею сделать того же? Хорошо, приятель... я точно не обрежу тебе ушей, но знай и верь, что я в твою православную спину влеплю двести самых горячих нагаек, если ты не перестанешь дурачиться... Слышал?..

– Слышал – и все-таки буду отвечать по-прежнему: не кую, потому что я добрый мусульманин.

– А я заставлю тебя ковать, потому что я добрый солдат. Когда ты работал для прихоти своего бека, ты будешь работать для необходимости русского офицера: без этого я не могу выступить. Ефрейторы, сюда!!

Между тем кружок любопытных около упрямого кузнеца расширился, подобно кругу на воде от брошенного камня. В толпе иные уже ссорились за передние места, не зная, что смотреть бегут они, и наконец раздалось: «Этого не надо, этому не бывать – сегодня праздник, сегодня грех работать!»

Некоторые смельчаки, надеясь на число, надвинули шапки на глаза и, держась за рукоятки кинжалов, подле самого капитана стали кричать: «Не куй, Алекпер, не делай ему ничего... Вот тебе новости! Что нам за пророки эти немые русские!»

Капитан был отважен и знал очень коротко азиатцев.

– Прочь, бездельники, – закричал он гневно, положа руку на ручку пистолета, – молчать, или я первому, кто осмелится выпустить брань из-за зубов, запечатаю рот свинцовой печатью!

Это увещание, подкрепленное штыками нескольких солдат, подействовало мгновенно – кто был поробче – давай бог ноги, кто посмелее – прикусил язык. Сам набожный кузнец, видя, что дело идет не на шутку, поглядел на все стороны, проворчал: «*Неджелеим* (Что ж мне делать)?», засучил рукава, вытащил из мешка клещи и молот и начал подковывать русскую лошадь, приговаривая сквозь зубы: «*Валла билла битмы эддым*» (а это значит наравне с польским «дали буг, не позволям»). Надобно сказать, что все это происходило за глазами Аммалата: он – едва завидел русских – то, избегая неприятной для себя встречи, сел на новоподкованного коня и поскакал в дом свой, над Буйнаками стоящий.

Между тем как это происходило на одном конце ристалища, ко фронту отдыхающей роты подъехал всадник среднего роста, но атлетического сложения; он был в кольчуге, в шлеме, в полном боевом вооружении; за ним следом тянулось пять нукеров. По запыленной их одежде, по коням в поту и пене виделось, что они совершили скорый и дальний переезд. Первый всадник, рассматривая солдат, тихим шагом проезжал вдоль составленных в козлы ружей – задел и опрокинул две пирамиды. Нукеры, следуя за господином, вместо того чтоб своротить в сторону, – дерзко топтали упавшее оружие. Часовой, который еще издали кричал, чтоб они не приближались, схватил под уздцы коня панцерника, между тем как множество солдат, раздраженных таким презрением от мусульман, окружили поезд с бранью.

– Стой, кто ты? – было восклицание и вместе вопрос часового.

– Ты, видно, рекрут, когда не узнал Султан-Ахмет-хана Аварского⁸, – хладнокровно отвечал панцерник, отрывая руку часового от поводьев. – Кажется, в прошлом году я задал русским в Башлах⁹ по себе славную поминку. Переведи ему это, – сказал он одному из своих нукеров. Аварец повторил его слова по-русски довольно понятно.

– Это Ахмет-хан! Ахмет-хан... – раздалось между солдатами. – Лови его, держите его! Тащите его на расплату за башлинское дело... бездельники в куски изрубили наших раненых!

– Прочь, грубиян, – вскричал Султан-Ахмет-хан по-русски рядовому, который снова схватил коня за узду, – я русский генерал!

– Русский изменник! – зашумело множество голосов. – Ведите его к капитану, потащим его в Дербент, к полковнику Верховскому!

– Только в ад пойду я с такими проводниками, – сказал Ахмет-хан с презрительной улыбкою и в то же мгновение поднял коня на дыбы, бросил его влево, вправо и вдруг, повернув на воздухе кругом, – ударил нагайкою – и был таков. Нукеры не сводили глаз с хана и с гиком кинулись за ним следом, опрокинули некоторых солдат и открыли себе дорогу. Отскакав не

⁸ Он был родной брат Гассан-хана Джемутайского, а сделался ханом Аварским, женись на вдове хана, единственной его наследнице.

⁹ Тогда отряд наш, состоявший из трех тысяч человек, окружен был шестьюдесятью тысячами горцев. Там был уцмий Каракайдакский, аварцы, койсубулиппы и другие. Русские пробились ночью – и с уроном.

боле как шагов на сто, хан снова поехал шагом, не оглядываясь назад, не изменяясь в лице и хладнокровно поигрывая уздечкою. Толпа татар, собравшаяся около кузнеца, привлекла его внимание.

– Что у вас за споры, приятели? – спросил у ближних Ахмет-хан, сдержав коня.

Все с уважением приложили руки ко лбу при поклоне, завидя хана. Те, которые были поробче или помирнее, очень смутились от этой встречи: того и гляди попадешь в беду от русских, зачем не взяли врага их, или под месть хана, если ему не уважишь. Зато все голово-резы, все бездельники и все, которые с досадой смотрели на владычество русское, окружили его веселою толпою. Ему в один миг рассказали, в чем дело.

– И вы, как буйволы, смотрите, когда вашего брата запрягают в ярмо, – громко сказал хан окружающим, – когда вам в глаза смеются над вашими обычаями, топчут под ноги вашу веру!! И вы плачете, как старые бабы, вместо того чтобы мстить, как прилично мужам! Трусы, трусы!

– Что мы сделаем? – возразили ему многие голоса. – У русских есть пушки! есть штыки!..

– А у вас разве нет ружей, нет кинжалов? Не русские страшны – а вы робки! Позор мусульманам: дагестанская сабля дрожит перед русскою нагайкою. Вы боитесь пушечного грома, а не боитесь укоров. Ферман русского пристава для вас святее главы из Корана. Сибирь пугает вас пуще ада... Так ли поступали деды ваши, так ли думали отцы?.. Они не считали врагов и не рассчитывали, выгодно или невыгодно сопротивляться насилию, а храбро бились и славно умирали. Да и чего бояться? Разве чугуны у русских бока? Разве у их пушек нет заду? Ведь скорпионов ловят за хвост!!

Речь эта возмутила толпу. Татарское самолюбие было тронуте живо.

– Что смотреть на них? Что позволять им хозяйничать у нас, будто в своем кармане? – послышалось отовсюду. – Освободим кузнеца от работы, освободим! – закричали все и стеснили кружок около русских солдат, посреди коих Алекпер ковал капитанскую лошадь.

Смятение росло.

Довольный возбуждением мятежа, Султан-Ахмет-хан не желал, однако ж, замешиваться в ничтожную схватку – и выехал из толпы, оставя там двух нукеров для поддержания духа запальчивости между татар, – и с двумя остальными быстро поскакал в утах¹⁰ Аммалата.

– Будь победитель! – сказал Султан-Ахмет-хан Аммалат-беку, который встретил его на пороге.

Это обыкновенное на черкесском языке приветствие было произнесено им с таким значительным видом, что Аммалат, поцеловавшись с ним, спросил:

– Насмешка это или предсказание, дорогой гость мой?

– Зависит от тебя, – отвечал пришелец. – Настоящему наследнику шамхальства¹¹ стоит только вынуть из ножен саблю, чтобы...

– Чтобы никогда не вкладывать, хан? Незавидная участь: все-таки лучше владеть Буйнаками, нежели с пустым титулом прятаться в горах, как шакалу.

– Как льву, прядать с гор, Аммалат, и во дворце твоих предков опочить от славных подвигов.

– Не лучше ль не пробуждаться ото сна вовсе?

– Чтобы и во сне не видеть, чем должен ты владеть наяву? Русские не даром потчуют тебя маком и убаюкивают сказками, между тем как другой рвет золотые цветы¹² из твоего сада!

¹⁰ Дом по-татарски эвъ; утах – значит *палаты*, а сарай – вообще *здание*. Гарам – хане – *женское отделение* (от этого происходит русское слово *хоромы*). В смысле *дворца* употребляют иногда слово и *гарат*. Русские все это смешивают в одно название сакли, что по-черкесски значит *дом*.

¹¹ Отец Аммалата был старший в семействе и потому настоящий наследник шамхальства; но русские, завладев Дагестаном и не надеясь на его доброту, отдали власть меньшому брату.

¹² Игра слов, до которой азиатцы большие охотники: кызыль-гюллер, собственно, значит *розы*, но хан намекает на кызыль – *червонец*.

– Что могу я предпринять с моими силами?

– Силы – в душе, Аммалат!.. Осмелюсь – и все преклонится перед тобою... Слышишь ли? – промолвил Султан-Ахмет-хан, когда раздались в городе выстрелы. – Это голос победы!

Сафир-Али вбежал в комнату со встревоженным лицом.

– Буйнаки возмутились, – произнес он торопливо, – толпа буянов осыпала роту и завела перестрелку из-за камней...

– Бездельники! – вскричал Аммалат, взбрасывая на плечо ружье свое. – Как смели они шуметь без меня? Беги вперед, Сафир-Али, грози моим именем, убей первого ослушника!

– Я уже унимал их, – возразил Сафир-Али, – да меня никто не слушает, потому что нукеры Султан-Ахмет-хана поджигают их, говорят, что он советовал и велел бить русских.

– В самом деле мои нукеры это говорили? – спросил хан.

– Не только говорили, да и примером ободряли, – сказал Сафир-Али.

– В таком случае я очень ими доволен, – молвил Султан-Ахмет-хан, – это по-молодецки.

– Что ты сделал, хан? – вскричал с огорчением Аммалат.

– То, что бы тебе давно следовало делать!

– Как оправдаюсь я перед русскими!!

– Свинцом и железом... Пальба загорелась – судьба за тебя работает – сабли наголо – и пойдем искать русских!!

– Они здесь, – возгласил капитан, который с десятью человеками пробился сквозь нестройные ряды татар в дом владельца.

Смущен неожиданным бунтом, в котором его могли счесть участником, Аммалат приветливо встретил разгневанного гостя.

– Приди на радость, – сказал он ему по-татарски.

– Не забочусь, на радость ли пришел я к тебе, – отвечал капитан, – но знаю и испытываю, что меня встречают в Буйнаках не по-дружески. Твои татары, Аммалат-бек, осмелились стрелять в солдат моего, твоего, общего нашего царя.

– В самом деле, это очень дурно, что они стреляли в русских, – сказал хан, презрительно разлегаясь на подушках, – когда бы должно было убивать их.

– Вот причина всему злу, Аммалат, – сказал с гневом капитан, указывая на хана. – Без этого дерзкого мятежника ни один курок не брякнул бы в Буйнаках! Но хорош и ты, Аммалат-бек... Зовешься другом русских и принимаешь врага их как гостя, укрываешь как товарища, честишь как друга. Аммалат-бек! именем главнокомандующего требую: выдай его.

– Капитан, – отвечал Аммалат, – у нас гость – святыня. Выдача его навлекла бы на мою душу грех, на голову позор неокупимый – уважьте мою просьбу – уважьте наши обычаи.

– Я скажу тебе в свою очередь: вспомни русские законы, вспомни долг свой; ты присягал русскому государю, а присяга велит не жалеть родного, если он преступник.

– Скорее брата выдам, чем гостя, *г<осподин>* капитан! Не ваше дело судить, что и как обещал я выполнять, – в моей вине мне *диван* (суд) Аллах и падишах!.. Пускай в поле бережет хана судьба, но за моим порогом, под моею кровлею я обязан быть его защитником – и буду им!

– И будешь в ответе за этого изменника!

Хан безмолвно лежал во время этого спора, гордо пуская дым из трубки, но при слове «изменник» кровь его вспыхнула; он вскочил и с негодованием побежал к капитану.

– Изменник я, говоришь ты? – сказал он. – Скажи лучше, что я не хотел быть изменником тем, кому обязан верностью. Русский падишах дал мне чин, сардарь ласкал меня – и я был верен, покуда от меня не потребовали невозможного или унижительного. И вдруг захотели, чтобы я впустил в Аварию войска, чтобы позволил выстроить там крепости; но какого имени достоин бы я стал, если б продал кровь и пот аварцев – братьев моих! Да если б я покусился на это, то неужели думаете вы, что мог бы это исполнить? Тысячи вольных кинжалов и неподкупных пуль устремились бы в сердце предателя – самые скалы рухнули бы на голову сына

отцеповца. Я отказался от дружбы русских, но еще не был врагом их, и что ж было наградой за мое доброжелательство, за добрые советы? Я был лично, кровно обижен письмом одного вашего генерала, когда предостерегал его... Ему дорого стоила в Башлах дерзость... реку крови пролил я за несколько капель бранчивых чернил, и эта река делит меня навечно с вами.

– Эта кровь зовет месть, – вскричал капитан сердито, – и ты не уйдешь от нее, разбойник!

– А ты от меня, – возразил вспыльчивый хан, вонзая кинжал в живот капитана, когда тот занес руку, чтобы схватить его за ворот.

Тяжело раненный капитан, простонав, упал на ковер.

– Ты погубил меня, – произнес Аммалат, всплеснув руками, – он русский и гость мой.

– Есть обиды, которых не покрывает кровля, – возразил мрачно хан. – Кости судьбы выпали; колебаться не время; запирай ворота, скличь своих и ударим на неприятелей.

– За час еще я не имел их... теперь нечем их отражать... У меня нет в запасе ни пуль, ни пороха – люди в разброде...

– Народ разбежался! – в отчаянии вскричал Сафир-Али. – Русские идут в гору скорым шагом... они уж близко!!

– Если так, то поезжай со мною, Аммалат, – молвил хан. – Я ехал в Чечню, чтобы поднять ее на линию... Что будет, бог весть, но и в горах хлеб есть!.. Согласен ты?

– Едем!.. – решительно сказал Аммалат. – Теперь мне одно спасение в бегстве... Не время теперь ни споров, ни укоров.

– Гей, коня, и шесть нукеров за мною!

– И я с тобой, – произнес со слезой в оке Сафир-Али, – с тобой в волю и в неволю.

– Нет, добрый мой Сафир-Али, нет! Ты останешься здесь похозяйничать, чтобы свои и чужие не растащили всего дома. Снеси от меня привет жене и проводи ее к тестю – шамхалу. Не забудь меня, – и до свиданья!

Едва успели они выскакать в одни ворота, как русские вторглись в другие.

Глава II

Вешний полдень сиял над высью Кавказа, и громкие клики мулл звали жителей Чечни к молитве. Постепенно возникали они от мечети до незримой за гребнями мечети, и одинокие звуки их, на миг пробуждая отголосок утесов, затихали в неподвижном воздухе.

Мулла Гаджи-Сулейман, набожный турок, один из ежегодно насылаемых в горы стамбульским диваном для распространения и укрепления православия, а с тем вместе и ненависти к русским, отдыхал на кровле мечети, совершив обычный призыв, омовение и молитву. Он был еще недавно принят муллою в чеченском селении Игали, и потому, погруженный в глубоко-мысленное созерцание своей седой бороды и кружков дыма, летящих с его трубки, – порою он поглядывал с любопытным удовольствием и на горы и на ущелие, лежащие к северу, – прямо под его глазами. Влево возникали стремнины хребта, отделяющего Чечню от Аварии, далее сверкали снега Кавказа. Сакли, неправильно разбросанные по обрыву, уступами сходили до полугоры, и только узкие тропинки вели к этой крепости, созданной природою и выисканной горскими хищниками для обороны воли своей, для охраны добычи. Все было тихо в селении и по горам окрестным: на дорогах и улицах ни души... стада овец лежали в тени скал... буйволы теснились в грязном водоеме у ключа, выставя одни морды из болота. Лишь жужжание насекомых, лишь однозвучная песня кузнечика были голосом жизни среди пустынного безмолвия гор – и Гаджи-Сулейман, залегши под куполом, вполне наслаждался тишью и бездействием природы, столь сходными с ленивою неподвижностью турецкого характера. Тихо поводил он глазами, в которых погас свой огонь и потуск свет солнца, – и наконец взоры его встретили двух всадников, медленно взбирающихся вверх по противоположной стороне ущелия.

– Нефтали! – закричал наш мулла, обратившись к ближней сакле, у дверей которой стоял оседланный конь.

И вот стройный чеченец с подстриженною бородкою, в мохнатой шапке, закрывающей пол-лица, выбежал на улицу.

– Я вижу двух вершников, – продолжал мулла, – они объезжают селение!

– Верно, жиды либо армяне, – отвечал Нефтали, – им, конечно, не хочется нанимать проводника – да они сломят себе шею на объездной тропинке. Там и дикие козы и наши первые удалыцы скачут, оглядываясь.

– Нет, брат Нефтали, я два раза ходил в Мекку¹³ и навидался армян и жидов во всех сторонах... Только эти всадники не тем *глядят*, чтобы им торговать по-жидовски... разве на перекрестке менять железо на золото! С ними нет и выюков. Взгляни-ка сам сверху, твои глаза вернее моих; мои отжили и отглядели свое. Бывало, за версту я мог считать пуговицы на кафтане русского солдата и винтовка моя не знала промаха по неверным – а теперь я и дареного барана вдали не распознаю.

Между тем Нефтали стоял уже подле муллы и орлиным взором своим следил проезжих.

– Полдень жарок и путь тяжел, – примолвил Сулейман, – пригласи путников освежить себя и коней; может, не знают ли чего новенького – да и принимать странника крепко-накрепко заповедано Кораном.

– У нас в горах и раньше Корана ни один путник не выходил из деревни голоден или грустен, никогда не прощался без чурека, без благословения и без провожатого в напутье – только эти люди мне подозрительны: зачем им обегать добрых людей и по околицам, с опасностью жизни, миновать деревню нашу?

¹³ Гаджи, собственно, значит *путешественник*, по придается вроде титула тем, кои были в Мекке. Они имеют право носить белую витую чалму; шагиды редко, однако ж, ее носят.

– Кажется, они земляки твои, – сказал Сулейман, осенив глаза рукою, чтобы пристальнее взглядеться. – На них чеченское платье. Может быть, они возвращаются из набега, куда и твой отец помчался с сотнею других соседей; или, может быть, едут братья мстить кровью за кровь.

– Нет, Сулейман, это не по-нашему. Утерпело ли бы сердце горское не заехать к своим похвалиться молодечеством в бою с русскими – пощеголять добычей? Это и не кровоместники и не абреки – лица их не закрыты башлыками, – впрочем, одежда обманчива, и кто порука, что это не русские беглецы? Недавно из Гумбет-аула ушел казак, убив узденя хозяина, у которого жил, и завладев его конем, его оружием... Черт силен!

– На тех, у кого слаба вера, Нефтали... Однако, если я не ошибаюсь, у заднего всадника из-под шапки выются волосы!

– Пускай я рассыплюсь прахом, если неправда! Это или русский, или, еще и того хуже, шагид-татарин¹⁴... Постой, приятель, я расчесу тебе твои *зильфляры* (кудри) – через полчаса я возвращусь, Сулейман, или с ними, или кто-нибудь из нас троих упитает горных беркутов.

Нефтали стремглав сбежал с лестницы, накинув на плечо ружье, прыгнул в седло и помчался с горы кубарем, не разбирая ни рытвин, ни камней. Только пыль взвивалась и камни катились следом за бесстрашным наездником.

– Алла акбер! – преважно сказал Сулейман – и закурил трубку.

Нефтали скоро догнал всадников. Усталые кони их, покрытые пеною, кропили потом узкую, стремнистую стезю, по которой взбирались они в гору. Передний был в кольчуге, задний – в черкесском платье; только персидская сабля вместо шашки висела на позументовом поясе. Левая рука его была окровавлена, перевязана платком и висела на темляке. Лиц обоих не мог он видеть. Долго ехал он сзади по скользкой тропе, висящей над пропастью, но при первой площадке заскакал вперед и поворотил коня навстречу.

– Селам алейкюм, – сказал он, преграждая путь на едва пробитую в скале стезю и выправляя оружие.

Передовой всадник поднял бурку на лицо, так что лишь одни нахмуренные брови его остались видимы.

– Алейкюм селам, – отвечал он, взводя курок ружья и укрепляясь в стременах.

– Дай Бог доброго пути, – молвил Нефтали, повторяя обыкновенный привет встречи и между тем готовясь при первом неприязненном движении застрелить незнакомца.

– Дай тебе Бог ума, чтобы не мешать путникам! – возразил нетерпеливо противник. – Чего ты хочешь от нас, кунак?

– Предлагаю покой и братскую трапезу вам, ячмень и стойло коням вашим. Порог мой искони цветет гостеприимством. Благодаренье путников множит стада и закаляет оружие доброго хозяина... не кладите же клейма упрека на все наше селение, чтоб не сказали: «Они видели путников п полдненный жар и не освежили, не угостили их!»

– Благодарим за участие, приятель. Мы не привыкли на своре ходить в гости... да и быстрота для нас нужнее покоя.

– Вы едете навстречу гибели, не взявши провожатого.

– Провожатого! – воскликнул путник. – Да я знаю все туриные стежки на Кавказе, не только ваши конные проезды. Я бывал там, куда не ползали змеи, не взбирались тигры, не летали орлы ваши... Отсторонись, товарищ... на Божьей дороге нет твоего порога; мне некогда точить с тобою вздор.

– Я не уступлю шагу, покуда не узнаю, кто ты и откуда.

– Дерзкий мальчишка! прочь с дороги... иль через миг твоя мать будет вымаливать у чакалов и ветров твои раздробленные кости! Благодарю судьбу, Нефтали, что я водил хлеб-

¹⁴ Вес горцы плохие мусульмане, но держатся секты сунн и; напротив, большая часть дагестанцев *шагиды*, как и персияне... Обе секты сии ненавидят друг друга от чистого сердца.

соль с отцом твоим и не раз о бок с ним пускал коня в сечу. Недостойный сын! Ты бродишь по дорогам и готов нападать на мирных путников, а тело отца твоего тлеет теперь на полях русских, и жены казаков продают на станичном базаре его оружие!! Нефтали! отец твой убит вчерась за Тереком – узнай меня!

– Султан-Ахмет-хан! – вскричал чеченец, пораженный нечаянным, пронзающим взором хана и страшною вестью; голос его замер... он упал на гриву коня в тоске невыразимой.

– Да, я Султан-Ахмет-хан! Но врежь в память, Нефтали, что, если ты скажешь кому-нибудь: «Я видел Аварского хана», месть моя переживет поколения!

Странники проехали мимо. Хан безмолвствовал, погруженный, как видно, в неприятные воспоминания; Аммалат-бек (это был он) – в черные думы. У обоих платье носило следы недавнего боя; усы были опалены вспышками полки и брызги чужой крови засохли на лицах. Но гордый взор первого вызывал, казалось, на бой судьбу и природу – мрачная улыбка досады, смешанная с презрением, сжимала уста. Напротив, истома была написана на бледном лице Аммалата. Он едва поводил полузакрытыми глазами, и порою стон вырывался от боли в раненой руке его: неровный ход татарского, непривычного к горным дорогам коня еще более разбережал рану. Он первый прервал молчание.

– Почему ты отказался от предложения этих добрых людей? Заехали бы отдохнуть часочек-другой – по росе помчались бы далее.

– Ты думаешь, потому что ты чувствуешь, как юноша, любезный Аммалат. Привык ты повелевать своими татарами, как рабами, и полагаешь, что также легко обходиться с вольными горцами! Рука судьбы отяготела над ними – мы разбиты и прогнаны, сотни храбрых горцев, твои и мои нукеры легли в битве с русскими – и показать чеченцам побежденное лицо Султан-Ахмет-хана, которое привыкли они видеть звездой победы, явиться посреди их беглецом, быть вестником своего позора, принять нищенское угощение, может быть, слышать укоры за гибель мужей и сынов, увлеченных мною в дерзкий набег, – значит навсегда потерять их доверие. Пройдет время: слезы высохнут, жажда мести заменит тоску по убитым, и тогда снова увидят они Султан-Ахмета, пророка добыч и крови, тогда снова раздастся в этих горах призыв к бою, и снова поведу я летучие толпы мстителей в русские границы. Приди я теперь, и в пылу огорчения чеченцы не рассудят, что Аллах дает и отнимает победу... Они могут, пожалуй, обидеть меня дерзким словом – а мои обиды неискупимы, и личная месть может загородить широкую дорогу на русских. Зачем же накликать себе ссору с храбрым народом и сокрушать идола собственной славы, на который привыкли они глядеть с изумлением? Человек никогда не кажется обыкновеннее, как в бессилии, когда всякий безбоязненно может померять с ним плечо. Притом тебе нужен искусный лекарь, а нигде не найдешь ты лучшего, как у меня, – завтра мы будем дома; потерпи до тех пор!

Аммалат-бек с признательностью приложил руку к сердцу и ко лбу – он чувствовал вполне справедливость речей хана, но слабость одолевала его с каждым часом.

Избегая селений, они провели ночь между утесами, питаясь горстью пшена, варенного с медом, без которого горцы редко отправляются в дорогу. Переправясь через Койсу, по мосту близ Аширте, они давно уже оставили за собой северный рукав ее, и Анде, и землю койсубулинцев, и голый хребет Салатау. Непроторенный путь их лежал по лесам, по крутизнам, ужасающим взор и дух; и вот стали они взбираться на последний хребет, разделяющий их с севера от Хунзаха, или Авара, – столицы ханов. Исчез и лес и кустарник на кремнистой пустыне гор, по которой кочуют лишь облака и вьюги. Чтобы достичь гребня, принуждены были наши путники ехать то вправо, то влево реями: так стремниста была круть утесов. Привычный конь хана осторожно и верно ступал с камня на камень – пытал копытом, не катятся ли они, и на хвосте сползал в обрывы, – но гордый, пылкий жеребец Аммалата, питомец холмов дагестанских, горячился, прыдал и оступался. Избалованный холею, он не мог выдержать двухдневного побега на зное солнца и холоду вершин, по острым скалам, едва подкрепленный скудною тра-

вою в расселинах. Тяжело храпел он, взбираясь выше и выше; пот струею бежал с нагрудника, широкие ноздри пышели огнем, и пена кипела на удилах.

– Аллах бережет! – воскликнул Аммалат, достигнув до вершины, с которой открылся ему вид на Аварию, – но в ту же минуту изнемогший конь грянулся под ним на землю, кровь хлынула из оскаленного рта, и последний вздох его порвал седельную подпругу.

Хан поспешил помочь беку выбиться из стремян; он со страхом заметил, что усилия сдвинули перевязку с раны Аммалатовой, и кровь пробилась снова. Молодой человек, казалось, был нечувствителен к боли: слезы его катились о павшем бегуне... Так одна капля не наполняет, но переполняет чашу.

– Ты уж не будешь носить меня как пух по ветру, – говорил он, – ни в пыльном облаке на скачке, слыша за собой досадные клики соперников и восклицания народа, ни в пламя битвы; уже не вынесешь еще однажды из-под чугунного дождя русских пушек. С тобой добыл я славу наездника; зачем же мне переживать и ее и тебя?!

Он склонил лицо в колена и долго, долго безмолвствовал, между тем как хан заботливо перевязывал раненую его руку. Наконец Аммалат поднял голову.

– Оставь меня, Султан-Ахмет-хан, – сказал он решительно, – оставь несчастливца собственной участи. Путь далек, а я изнемогаю. Оставшись со мной, ты даром погибнешь. Взгляни, как вьется над нами орел, – он чувствует, что мое сердце скоро замрет в когтях его, – и слава Богу! Лучше найти воздушный гроб в хищной птице, чем отдать свой прах под ногу христианина. Прощай, не медли!

– Не стыдно ли тебе, Аммалат, падать, запнувшись за соломинку?... велика беда, что ты ранен, что конь твой пал. Рана заживет до свадьбы – коня найдем лучше прежнего – и впереди у Аллаха не одни беды приготовлены. В цвете лет и в мужестве ума грешно отчаиваться. Садись на моего коня, я поведу его под уздцы, и к ночи мы дома. Время дорого!

– для меня уже нет времени, Султан-Ахмет-хан... Благодарю от сердца за твою братскую заботливость, но я не пользуюсь ею... тебе самому не вынести пешеходного пути после такой усталости. Повторяю: оставь меня на произвол судьбы... Здесь, на неприступных высотах, умру я волен и доволен... Да и чем может манить меня жизнь! Родители мои лежат в земле... жена лишилась зрения, дядя и тесть шамхал ползают в Тарках перед русскими... в родине, в наследии моем пируют гяуры – и теперь сам я изгнанник из дому, беглец из боя – я не хочу и не должен жить!

– Не должен бы говорить такого вздора, любезный Аммалат, – и одна только лихорадка извиняет тебя. Мы созданы для того, чтоб жить долее отцов наших; жен ты можешь найти еще три, если одна не наскучила; если не люб тебе шамхал, а любо твоё кровное наследство, так для этого самого и надо тебе жить: потому что для мертвеца не нужна власть и невозможна победа. Мстить русским – святой долг: оживи хоть для него; а что мы разбиты – это не новость для воина: сегодня выпадает удача им, завтра выпадет нам. Аллах дает счастье, но человек создает себе славу не счастьем, а твердостью... Ободришь, друг Аммалат... ты ранен и слаб, я крепок привычкою и не утомлен бегом – садись на коня, и мы еще не раз побьем русских!

Лицо Аммалата вспыхнуло...

– Да, я буду жить для мести им! – вскричал он, – для мести тайной и явной. Верь, Султан-Ахмет-хан, лишь для этого я принимаю твоё великодушие!.. Отныне я твой... клянусь гробом отца, я твой... Руководи моими шагами, направляй удары моей руки, и если я, потонув в неге, забуду клятву свою, напомни мне эту минуту, эту вершину: Аммалат-бек пробудится, и кинжал его будет молния!

Хан обнял, поднимая на седло, воспламененного юношу.

– Теперь я узнаю в тебе чистую кровь эмиров, – сказал он, – кровь пламенную детей гор, которая, как сера, течет в жилах наших и в недрах утесов и порой, вспыхивая, потрясает и рушит громады.

Поддерживая одною рукою в седле раненого, хан осторожно стал спускаться с обнаженного черепа. Случалось, камни с шумом катились из-под ног или конь скользил вниз по гладкому граниту, – а потому они очень рады были, добравшись до мшистой полосы. Мало-помалу кудрявые растения расстилать начали свою зеленую пелену – то вея из трещин опахалами, то спускаясь с крутин длинными плетеницами наподобие лент и флагов. Наконец они въехали в густой лес орешников, потом дуба, черешни и еще ниже чинара и чилдара. Разнообразие, богатство растений и величавое безмолвие сенистых дубрав вселяло какое-то невольное благоговение к дикой силе природы. Порой из ночного мрака ветвей, как утро, рассветала поляна, украшенная благоуханным ковром цветов, не мятых стопою человека. Тропинка то скрывалась в чаще, то выходила на край утеса, и под ним в глубине шумел и сверкал ручей, то пенясь между камнями, то дремля на каменном дне водоема, под тенью барбариса и шиповника. Фазаны, сверкая радужными хвостами, перелетывали в кустарниках; стада диких голубей вились над скалами то стеной, то столбом, восходящими к небу, – и закат разливал на них воздушный пурпур свой, и тонкие туманы тихо подымались в ущелиях; все дышало вечернею прохладою, незнакомою жильцам полей.

Уже путники наши были близки к селению Аких, лежащему за небольшой горой от Хунзаха. Невысокий гребень разделял их с этим селением, когда ружейный выстрел раздался в горах и, как зловещий знак, повторился отголоском утесов. Путники остановились в недоумении... перебаты постепенно затихли.

– Это наши охотники, – сказал Султан-Ахмет-хан, отирая пот с лица. – Они не ждут меня и не чают встретить в таком положении. Много радостных, много и горестных слез принесу я в Хунзах!

Непритворная горесть изобразилась на грозном лице Ахмет-хана – все нежные и все злобные чувства так легко играют душой азиатца!

Другой выстрел, однакож, развлек его внимание... удар и удар еще... выстрелы отвечали выстрелам и наконец слились в жаркую перепалку.

– Там русские, – вскричал Аммалат, выхватывая из ножен саблю, – и сжал каблуками коня, как будто одним прыжком хотел перепрыгнуть за гребень, – но мгновенные силы его оставили, и клинок, звуча, покотился из опавшей руки. – Хан, – сказал он, ступая на землю, – спешу на помощь своим землякам – твое лицо будет для них дороже сотни воинов.

Хан не слышал слов его – он прислушивался к полету пуль, как будто желая различить русских от аварских.

– Ужели с легкостью коз заняли они и крылья у орлов Казбека – и откуда могли они пройти на наши неприступные твердыни! – говорил он, весь склоняясь над седлом, со вложенною в стремя ногою. – Прощай, Аммалат, – вскричал он наконец, послышав, как загорелась сильная пальба. – Я еду погибнуть на развалинах, раззяясь, как перун, ударом!

В это время пуля, жужжа, упала к ногам его; он наклонился, поднял ее, и лицо его просияло улыбкою. Спокойно вынул он ногу из стремени и обратился к Аммалату.

– Садись верхом, – сказал он ему, – скоро ты своими глазами разгадаешь эту загадку... У русских свинцовые пули – а это медная, аварская¹⁵, моя милая землячка! Притом же она прилетела с южной стороны, откуда никак не могут прийти русские.

Они въехали на вершину гребня, и взорам их открылись две деревни, лежащие на двух противоположных краях глубокой рывины; и из них-то производилась перестрелка. Жители залегши за камнями, за оградами, палили друг в друга. Между ними беспрестанно бегали женщины, с воплем и плачем, когда какой-нибудь удалец, приблизясь к самому краю пропасти, падал раненый. Они носили камни и заботливо и бесстрашно под свистом пуль складывали перед ним род щита. Радостные крики раздавались на той и другой стороне, когда видели, что

¹⁵ Не имея собственного свинца, аварцы большею частью стреляют медными пулями, ибо у них есть медные руды.

выносят из дела раненого противника. Печальные стоны оглашали воздух, когда падал кто-нибудь из родных или товарищей. Аммалат долго и с удивлением смотрел на битву эту, в которой было более грому, чем вреда. Наконец он обратил вопрошающий взор к хану.

– У нас это обыкновенная вещь, – отвечал тот, любясь каждым удачным выстрелом. – Такие сшибки поддерживают между нами воинственный дух и боевой навык. У вас частные ссоры кончаются несколькими ударами кинжала – у нас они становятся общим делом целых селений, и самая безделица может дать к тому повод. Я чай, и теперь дерутся за какую-нибудь украденную корову, которую не хотели отдать. У нас не стыдно воровать в чужом селении – стыдно только быть уличену в том. Полюбуйся на смелость наших женщин – пули, как мухи, жужжат, а им горя мало – достойные матери и жены богатырей!.. Конечно, в великий стыд вменится тому, кто ранит женщину, – да ведь за пулю нельзя поручиться. Острый глаз направляет ее, но слепая судьба несет в цель. Однако темнота льется с неба и разлучает минутных врагов. Поспешим к родным моим.

Одна привычка хана могла спасти наших путников от частых падений по крутому спуску к реке Узени. Аммалат почти ничего не видал перед собою... двойная завеса ночи и слабости задергивала его очи... голова его кружилась... будто сквозь сон взглянул он, поднявшись снова на высоту, на ворота дома ханского, на сторожевую башню, и неверной ногой ступил он на землю среди двора, среди восклицаний нукеров и челядинцев – и, едва перешагнув за решетчатый порог гарамы, дух его занялся, смертная бледность бросила снег свой на лицо раненого, и юный бек, истощенный кровью, утомленный путем, голодом и душевною тоскою, – без чувств упал на узорные ковры.

Глава III

Аммалат пришел в память на заре. Медленно, поодиночке сходились в ум его мысли, и те мелькали, будто в тумане, от чрезвычайного расслабления. Он вовсе не ощущал боли в теле своем, и это состояние было даже приятно ему – оно отнимало у жизни горе, у смерти ужас, и в эту пору он услышал бы весть о выздоровлении так же беспечно, как весть о неизбежной кончине. Ему не хотелось молвить слова, пошевелить пальцем. Это полуусыпление было, однако ж, непродолжительно. В самый полдень, после посещения лекаря, когда прислужники разошлись исполнять обряды полуденной молитвы, когда стих усыпляющий говор их и только крик муллы раздавался вдали, Аммалат слышал тихие, осторожные шаги по коврам спальни... Он приподнял тяжелые веки, и сквозь сеть ресниц показалось ему, что прелестная черноокая девушка, в оранжевой сорочке, в глазетовом архалуке с двумя рядами эмалевых пуговиц, с длинными косами, распущенными по плечам, – тихо приблизилась к его ложу – и так заботливо обвела его чело, так сострадательно взглянула на рану, что в нем затрепетали все жилки... Потом осторожно налила она лекарства в чашечку и... больше не мог он рассмотреть... веки его опали, как свинец, – он только ловил слухом шелест ее шелкового платья, будто шум крыльев улетающего ангела, – и снова все стихло. И каждый раз потом, когда нетвердый еще разум его хотел разгадать ее появление, оно сливалось с неясными грезами горячки, так что первым вздохом, первым словом его, когда он очнулся, было: «Это сон!»

Но это не был сон. Прелестная эта девушка была шестнадцатилетняя дочь Султан-Ахмет-хана. У всех горцев вообще незамужние пользуются большою свободою обращения с мужчинами, несмотря на закон Магомета. Тем более независима была любимая дочь хана; подле ней только отдыхал он от забот и досад; подле ней только лицо его находило улыбку, а сердце шутки. В кругу ли аварских старшин и узденей рассуждал он о делах горской политики или давал суд правым и виноватым; между домашними ли слушал рассказы о прежних удальствах или замышлял новые набег, она прилетала, как ласточка, и приносила ему весну душевную. Счастье было того виноватого, на чье осуждение являлась она при отце... взмахнутый кинжал останавливался на воздухе – и часто, взглянув на нее, он отлагал кровавые замыслы, чтобы не разлучаться с милою дочерью. Все было ей позволено, все доступно. Запретить ей что-либо не подумал бы Ахмет-хан ни для каких обычаев, ни для каких пересудов – а подозрение в чем-нибудь, недостойном ее пола или ее сана, было так же далеко от его мыслей, как от ее сердца. Да и кто мог ей внушить нежные чувства из окружающих хана? Склонить свои мысли, унижить свои чувства до человека, низшего ее родом, было бы неслыханным позором для дочери последнего узденя – тем выше ханская дочь от самой колыбели напивалась гордынею предков – и она, как ледяное забрало, отделяла сердце ее от всего видимого общества. Доселе ни один гость не был равен с ней родом – по крайней мере ни про одного не спросило о том сердце. Вероятно, что и беспечный, бесстрастный возраст ее был тому виною, может быть, – но теперь час любви пробил, и сердце встрепенулось в груди неопытной красавицы. Она спешила заключить в объятия отца и со страхом увидала прекрасного юношу, падающего как мертвец к ногам ее... Первое ее чувство был ужас; но когда отец рассказал, как и почему Аммалат гость его, когда сельский лекарь объявил, что рана неопасна, – нежное соучастие к раненому проникло все ее существо. Целую ночь напролет мечтался ей окровавленный гость, и она встретила зарю впервые не так румяная, как заря; в первый раз прибегла она к хитрости: чтобы взглянуть на приезжего, вошла в комнату его, чтобы поздороваться с отцом, – и потом вкралась туда в полдень. Непостижимое, неодолимое любопытство влекло ее посмотреть на глаза Аммалата. Никогда в детстве не желала она так сильно игрушки, никогда в настоящем возрасте не манило ее так неодолимо новое, богатое платье или блестящее украшение, как страстно хотелось ей встретить глаза гостя; и наконец ввечеру она встретила томный, но выразительный, беспламен-

ный, но светлый взор его. Она не могла отвести очей с черных очей Аммалата, прилепленных к ней. Казалось, они говорили: «Не скрывайся, звезда души моей!» – поглощали исцеление и отраду из ее взоров. Она не знала, что с нею делается, не чувствовала, на земле ли была она или в воздухе носилась; летучие краски сменялись на лице ее. Наконец она решилась дрожащим голосом спросить его о здоровье...

Надо быть татаринном, который считает за грех и обиду сказать слово чужой женщине, который ничего женского не видит, кроме покрывала и бровей, чтобы вообразить, как глубоко возмущен был пылкий бек взором и словом прелестной девушки, столь близко и столь нежно на него брошенным. Сладкий огонь пробежал по сердцу его, несмотря на слабость.

– О, мне очень хорошо теперь, – отвечал он, стараясь приподняться, – так хорошо, что я бы готов был умереть, Селтанета!

– *Алла сахласын* (Бог да сохранит тебя), – возразила она. – Живи, живи долго!.. Неужели не жаль тебе жизни?

– В сладкие минуты сладка и смерть, Селтанета. А если б я прожил еще сто лет, краше настоящей не нашел бы!

Селтанета не поняла слов гостя, но она поняла взор его, поняла выражение его голоса. Она покраснела еще более и, сделав рукою знак, чтоб он успокоился, – упорхнула из комнаты.

Между горцами есть весьма искусные лекаря, особенно для всех переломов и ран; но Аммалата исцеляло лучше всех трав и пластырей присутствие милой горянки. С приятною надеждою засыпал он, уверенный, что увидит ее во сне, и радостен просыпался, зная, что наяву с нею встретится... Силы его возвращались быстро, и с силами росла привязанность к Селтанете. Аммалат был женат, но, как водится на Востоке, для одних расчетов. Он никогда не видал до свадьбы невесты своей и после ничего не нашел в ней привлекательного, ничего такого, что бы могло пробудить его спящее сердце. Впоследствии жена его ослепла, и это обстоятельство еще более охладило связь, основанную на азиатской чувственности. Семейная неприязнь к тестю и дяде шамхалу еще более разделяла молодых супругов, до того, что они очень редко бывали вместе. Мудрено ли ж после этого, что юноша, пылкий по природе, своевластный по привычке, – загорелся новою для него любовью! Быть с нею было для него самым высоким счастьем, ждать ее появления – приятнейшим занятием... Бывало, он вздрогнет, чуть слышит ее голос, – каждый звук, будто луч солнца, проникал в душу... и ощущение его походило на боль – но боль так восхитительную, что он желал бы навеки продлить ее. Мало-помалу знакомство между молодыми людьми скрепилось в дружбу... Они почти беспрестанно бывали вместе. Хан часто уезжал внутрь Аварии по делам хозяйства, по расправам, по военным распоряжениям, оставляя гостя на попечение жены своей, тихой, молчаливой женщины. Он очень видел склонность Аммалата к дочери своей и втайне тому радовался – это оживляло его честолюбивые и воинственные виды: родство с беком, имеющим право на шамхальство, предавало ему в руки тысячу поводов и средств вредить русским. Ханша, занимаясь урядом домашним, оставляла нередко по целым часам Аммалата в покоях своих, как родного; и Селтанета, с двумя или тремя своими приближенными девушками, сидя на подушке за рукодельем, не видела, как летит время, то разговаривая с гостем, то внимая его рассказам. Бывало и то, что долго, долго сживал Аммалат, склонясь у ног своей Селтанеты, не вымолвя слова, – то глядясь в черные, поглощающие глаза ее, то любуясь с ней горными видами из окна ее, обращенного к северу, и крутыми берегами и крутыми изворотами гремучей Узени, над которою висит замок ханский. Подле этого детски невинного существа забывал Аммалат желания, которых она еще не знала, и, тая в неизвестном, непонятном для него наслаждении, он не думал ни о прошедшем, ни о будущем – он не думал ни о чем, он только мог чувствовать, и беззаботно, не отнимая от чаши уст, пил блаженство каплю по капле.

Так протекло лето.

Аварцы – народ свободный. Они не знают и не терпят над собой никакой власти. Каждый аварец называет себя узденем, и если имеет *есыря* (пленного), то считает себя важным баринном. Бедны, следственно, и храбры до чрезвычайности; меткие стрелки из винтовок – славно действуют пешком; верхом отправляются только в набеги, и то весьма немногие. Лошади их мелки, но крепки невероятно; язык дробится на множество наречий – но в основе лезгинский, ибо и сами аварцы племени лезгинского. Помнят христианскую веру, ибо не более ста двадцати лет поклонились Магомету – но до сих пор плохие магометане: пьют водку, пьют бузу, нередко виноградное вино, но всего чаще вино вареное, называемое у них *джана*. Верность аварского слова в горах обратилась в пословицу. Дома тихи, гостеприимны, радушны, не прячут нижен, ни дочерей – за гостя готовы умереть и мстить до конца поколений. Месть для них – святыня; разбой – слава. Впрочем, нередко принуждены бывают к тому необходимостью... Выходя по вершине Аталы и Тхезерук, через хребет Турпитау в Кахетию, за реку Алазань, для сельских работ, из очень скудной платы, они нередко остаются дня по два и по три без дела... и потом, сговорившись, как голодные волки, бросаются ночью на ближние селения и, если удастся, угощают стада, похищают женщин, захватывают пленников – но всего чаще слагают свои головы в неравном бою. В русские границы впадения их затихли с тех пор, как укротили акушинцев, и Аслан-хан Кумыкский стережет через его владения лежащий выход из Аварии. Но селение Хунзах, или Авар, лежащее на восточном краю Аварии, искони составляет наследие ханов – и власть их там закон. Но имея право велеть своим нукерам изрубить кинжалами любого жителя Хунзаха, даже любого проезжего, хан не смеет наложить никакой подати, никакой пошрины на народ и должен довольствоваться доходами со стад и с полей своих, обрабатываемых *каравашами* (рабами) и *есырями* (пленниками). Не бравши, однако ж, прямых налогов, ханы не отказываются от требования повинностей, освященных более силою, чем обычаем. Взять во двор мальчика или девку, нарядить подводы на волах или буйволах для собственной перевозки или работы, послать гонца и тому подобное – суть вещи ежедневные. Жители Хунзаха живут, однако же, богаче всех своих одноземцев; дома их чисты и почти все в два яруса; мужчины стройны, женщины красивы, тем более что между ними множество грузинок, захваченных в плен. В Аварии много занимаются арабским языком, и потому слог людей грамотных очень цветен. Гарам ханский всегда полон гостями и нередко просителями, которые, по азиатскому обычаю, не смеют показать глаз без *пешкеши* (подарка), хотя бы то был пяток яиц... Нукеры ханские, на числе и отважности коих опирается власть его, с утра до вечера толкаются во дворах и в комнатах хана, всегда с заряженными пистолетами за поясом и с кинжалом на брюхе¹⁶. Любимые уздени и приезжие гости из чеченцев или из татар обыкновенно каждый день являлись поутру на поклон к хану, оттуда всей гурьбой отправлялись к ханше и нередко целый день оставались пировать в особых комнатах, угощаемые и в отсутствие хана изобильно.

Однажды приходит в беседу уздень аварский и за новость рассказывает, что невдалеке появился огромный тигр – и что двое отличнейших стрелков легли жертвою его люто́сти. Это так напугало наших охотников, что никто не решается в третий раз отве́дать удачи.

– Я отве́даю счастья! – вскричал Аммалат, горя нетерпением выказать уда́льство свое перед горцами. – Пусть только наведут меня на след зверя.

Широкоплечий аварец измерил взором с ног до головы дерзостного бека и, улыбнувшись, молвил:

– Тигр не чета дагестанскому кабану, Аммалат! Его след нередко ведет к смерти!

– Неужели ты думаешь, – возразил тот гордо, – что на этой скользкой дорожке у меня закружится голова или дрогнет рука? Не зову тебя помогать, зову посмотреть моего боя с тигром. Я надеюсь, ты поверишь тогда, что если сердце аварца твердо, как гранит его гор, то сердце дагестанца закалено, как славный булат их. Согласен?

¹⁶ Азиатцы носят кинжал не на боку, а впереди.

Аварец был пойман. Отказаться было бы постыдно – и он протянул руку – развеселил лицо...

– Охотно иду с тобою, – отвечал он. – Отлагать нечего... совершим клятву в мечети – и в путь и в бой неразлучно. Аллах судит – нам ли взять его кожу на чапрак или ему скушать нас.

Не в азиатском нраве, еще менее в азиатском обычае, прощаться с женщинами, отправляясь даже надолго, навсегда... Это принадлежит одним родным – и разве случаем выпадет гостю. Аммалат-бек со вздохом, однако ж, взглянул в окна Селтанеты – и тихими шагами прошел к мечети. Там уже ожидали его старшины селения и толпа любопытной молодежи.

По старинному аварскому обыкновению, ловцы должны были поклясться на Коране, что не выдадут друг друга ни в битве со зверем, ни в преследовании... не покинут раненого, если судьба допустит, что зверь сломает его, – будут защищать друг друга – лягут рядом, не щадя жизни, – и во всяком случае без шкуры зверя не воротятся назад; или тот, кто преступит завет сей, да будет сброшен со скалы, как трус, как изменник!

Товарищи после присяги обнялись... мулла надел на них оружие, и они отправились в путь при громких кликах всей толпы.

– Или оба, или ни одного! – кричали все вслед.

– Убьем или умрем! – отвечали охотники...

Минул день. Укатил другой за хребты ледяные... Старики притомили глаза, глядя с кровель на дорогу. Мальчики далеко выбегали на окрестные холмы, чтобы встретить охотников: все их нет как нет. В целом Хунзахе, едва ль не у каждого очага, кто от безделья, кто от участия, толковали об этом, но всех более горевала Селтанета. Крикнут ли на дворе, зашумит ли кто на лестнице – вся кровь, у нее вспыхнет, как на огне можжевельник, и сердце запрыгает от ожидания... вскочит, бывало, бедняжка и побежит к окну или дверям – и, в двадцатый раз обманутая, потупя очи, тихо пойдет за рукоделье, которое впервые показалось ей скучно и бесконечно. Наконец, за сомнением, и страх наложил свою ледяную руку на сердце красавицы. Она спрашивала у отца, у братьев, у гостей, каков зверь тигр на рану, – далеко ли, близко ли ходит он к селениям? И всякий раз, рассчитав время, она, сплеснув руками, говорила сама себе: «Они погибли!» – и тихо клонила голову к неровно волнуемой груди, и крупные слезы катились по ее прелестному лицу.

На третий день оказалось, что опасения всех не были напрасны. Уздень, товарищ Аммалата в ловитве, насилу привлёкся один до Хунзаха. Кафтан его был изодран когтями звериными – сам он бледен как смерть и в изнеможении от голода и усталости. С изумлением, с любопытством обстали его и стар и мал – и вот что рассказывал он, подкрепив себя чашкою молока и куском чурека:

– В тот же день, как вышли отсюда, выследили мы тигра. Мы нашли его спящим между таким каменником и чащею, что Аллах упаси. По жеребью досталось первому стрелять мне... я подкрался и наметил очень ловко – стрельнул – ан, на беду, зверь спал, закрыв морду лапою, и пуля, пробив ее, угодила в шею... Пробужден громом и болью, тигр взревел и в два прыжка прямо ринулся на меня, так, что я не успел выхватить и кинжала, – с размаху он сбил меня с ног, смял задними ногами – и только помню я, что в миг этого промежутка раздался крик и выстрел Аммалата и затем оглушающее, ужасное рыкание. Раздавленный, я потерял память и дыхание и, долго ли я лежал в обмороке, – не ведаю.

Когда открыл я глаза, все было тихо кругом меня... мелкий дождь сеялся из густого тумана – был ли то вечер, было ли то утро? Мое ружье, подернутое ржавчиной, лежало подле; ружье Аммалата, переломленное пополам, невдалеке; там и сям обрызганы были камни кровью – только чьею кровью: тигровой ли, Аммалатовой ли, как дознаться? Выломленные кустарники лежали кругом: верно, зверь выторгнул их упорными прыжками. Я кликал, сколько было голосу, товарища – нет ответа. Посижу-посижу да еще покличу – напрасно! Ни зверя, ни птицы перелетной. Много раз пытался я идти искать по следу Аммалата, или найти его, или умереть

на его теле – хоть бы отомстить зверю за смерть удалого! силы нет! Взяло меня горе; я всплакался горько: зачем погибаю и телом и доброю славою! Решился было ждать смертного часа в пустыне – только голод одолел меня. Дай, подумал я, повещу в Хунзахе, что Аммалат пропал без вести, и хоть умру между своими. Вот я и приполз сюда, как раздавленный змей. Братья! голова моя пред вами – судите, как положит Аллах на сердце. Приговорите ли мне жить, буду жить, поминаючи вашу правду; приговорите умереть – и то воля ваша! – умру невинен. Аллах свидетель, я сделал что мог!

Ропот рассыпался по народу, когда выслушали пришельца. Одни правили, другие винули его, хотя и все жалели.

– Всякий себя охраняет, – говорили некоторые из обвинителей. – Кто порука, что он не бежал с поля? На нем нет раны, нет и свидетельства... а что он выдал товарища, это почти без сомнения!

– Не только выдал, может, и нарочно предал, – толковали другие, – они неладно между собою говаривали!

Ханские нукеры пошли еще далее; они подозревали, что уздень убил Аммалата из ревности, – он слишком умильно поглядывал на дочь ханскую, а ханская дочь не ему чету нашла в Аммалате.

Султан-Ахмет-хан, сведав, для чего собрался народ на улице, прискакал и сам на сходку.

– Трус, – сказал он вместе с гневом и огорчением узденю, – ты пустил позор на имя аварское... теперь может всякий татарин укорить нас, что мы зверям скормили гостя, не умея защитить его! По крайней мере мы сумеем за него отомстить: ты клялся на Коране по старине аварской не покидать в беде товарища и, если он падет, не ворочаться домой без шкуры зверя... ты изменил клятве... но мы не переступим завета – гибни! Даю три дни сроку душе твоей – но потом, если Аммалат не найдется, – тебя сбросят с утеса! Вы головами отвечаете мне за его голову, – примолвил он, обращаясь к своим нукерам, надвинул шапку на брови и поворотил к дому коня своего.

Тридцать гонцов помчались из Хунзаха во все стороны проведывать хоть об остатках буйнакского бека. У горцев священной обязанностью считается с честью похоронить своего родственника или товарища – и они часто, как омировские герои, кидаются в пыл битвы, чтобы выхватить из рук русских убитого собрата, и порой десятками падают на тело, которого не хотят выдать.

Несчастливого узденя повлекли на конюшню ханскую – место, заменяющее обыкновенно тюрьму. Народ, рассуждая о происшедшем, угрюм, но безропотен разошелся по домам, ибо приговор ханский был согласен с правдою их обычаев.

Печальная весть скоро проникла до Селтанеты; и, как ни желали смягчить ее, – она жестоко поразила девушку, столь много любящую. Со всем тем она против ожидания казалась спокойною: не плакала, не жаловалась; но зато и не улыбалась более, не молвила ни слова. Ей говорила мать – она не слышала. Искры из трубки отца прожигали ее платье – она не замечала. Холодный ветер веял на грудь ее – она не чувствовала. Все ее чувства сжались в сердце на муку его – но это сердце глубоко лежало от взоров – и ничего не отражалось на гордом лице ее. Ханская дочь боролась с шестнадцатилетнею Селтанетою – можно было предсказать, кто падет прежде.

Но эта скрытая тоска удушала Салтанету... ей хотелось убежать от людских глаз и на свободе выплакать горе.

«Боже мой, – думала она, – зачем, потеряв друга, не имею права плакать о нем! Все так и смотрят не меня, чтобы посмеяться после... так и стерегут каждую слезку, чтобы поймать ее на злословный язык свой. Чужое горе им потеха».

– Секине! – молвила она своей прислужнице, – пойдем гулять по берегу Узени!

На треть агача¹⁷ расстояния от Хунзаха к западу есть развалины старинного христианского монастыря, уединенного памятника забытой веры туземцев. Рука времени, будто из благоговения, не коснулась самой церкви, и даже изуверство пощадило святыню предков. Она стояла цела между разрушенных келий и павшей ограды. Глава ее с остроконечною каменною кровлею уже почернела от дыхания веков; плещ заплел сеткою узкие окна, и в трещинах стен росли деревья. Внутри мягкий мох разостлал ковер свой – ив зной влажная свежесть дышала там, питаемая горным ключом, который, промыв стену, прислоненную к утесу, падал через каменный алтарь и распрядался в серебристые, вечнозвучные струны чистой воды – и потом, сочась в спаи плитного пола, вился ниже и ниже. Одиноким луч солнца, закравшись сквозь окно, мелькал и переливался сквозь зыбкую зелень по угрюмой стене, как резвый младенец на коленях столетнего деда. Туда-то направила Селтанета свою прогулку; там-то отдохнула она от взоров и вопросов, тяготивших ее. Все было так мирно, так прелестно, так счастливо около нее – и все это тем более множило печаль – первую печаль ее. Переливный свет на стене, лепетание ласточек и журчанье ключа растопило в слезы свинец, лежавший у нее на сердце, и горечь ее разлилась жалобами. Секине убежала нарвать груш, растущих в изобилии около церкви, и Селтанета тем беззаветнее предалась природе, требующей облегчения.

И вдруг, подняв голову, она вскрикнула от испуга... перед нею стоял стройный аварец, забрызганный грязью и кровью. Кожа тигра падала наземь с плеч его...

Ужели твое сердце, твои глаза, Селтанета, не узнали своего любимца? Нет, с другого взора она узнала Аммалата – и, забыв все на свете, кинулась на шею, обвила ее руками своими и долго, долго вглядывалась в истомленное, но всегда милое лицо – и наконец огонь уверения, огонь восторга заблистал сквозь не обсохшие еще слезы печали. Мог ли тогда удержать пылкий Аммалат радость свою? Он прильнул, как пчела, к розовым губкам Селтанеты. Он довольно слышал за минуту для своего счастья – теперь он был наверху блаженства. Еще ни слова не вымолвили любовники о любви своей – но они уже поняли друг друга...

– И ты, ангел, любишь меня? – произнес наконец Аммалат, когда Селтанета, застыдась поцелуя, уклонилась из его объятий. – Ты меня любишь?

– Сохрани Алла, – отвечала невинная девушка, опустил ресницы, но не очи, – любить! Это страшное слово. С год тому назад, проходя по улице, я увидела, как побивали камнями девушку, – с ужасом убежала я домой... но нигде не могла спрятаться... кровавая грешница везде стояла передо мною, и стон ее еще до сих пор отзывается в ушах моих. Когда я спросила, за что так бесчеловечно казнили эту несчастную, мне отвечали: она любила одного юношу!

– Нет, милая, не за то, что она любила, а за то, что любила не одного, за то, что изменила, быть может, обоим, ее убили!

– Что значит «изменила», Аммалат? Я не понимаю этого!

– О, дай Бог, чтоб ты никогда не испытала, никогда не выучилась изменять... чтобы ты никогда не забыла меня для другого!

– Ах, Аммалат, в эти четыре дня я узнала, как тяжела для меня с тобой разлука! Бывало, долго не вижу братьев, Ну нала и Сурхая, – и рада с ними свидеться – но без них не тоскую – без тебя же на свете жить не хочется!

– для тебя я готов умереть, звезда моя утренняя, за тебя положу свою душу, не только жизнь, милая!

Шелест шагов прервал речи любящихся... то была прислужница Селтанеты. Втроем они поспешили обрадовать хана, и хан был рад, был утешен непритворно. Аммалат в коротких словах рассказал, как было с ним дело.

– Чуть завидел я павшего товарища впереди меня – я встретил зверя на лету пулею – она разбила ему челюсть. Чудовище с ужасным ревом кинулось кружиться, прыгать, метаться –

¹⁷ Агач – семь верст. Он называется конным. Пешеходный – четыре версты.

несколько раз порывалось ко мне и снова, развлекаемо болью, бросалось в сторону... В это время, ударив его прикладом по черепу, изломал я ружье. Я долго гнался за ним, когда он пошел на уход, – то на виду, то по кровавому следу; между тем день вечерел, и когда я вонзил кинжал в горло павшего тигра, темная ночь падала на землю. Волей и неволею принужден я был ночевать, имея палатами утесы, а собеседниками волков и чакалов. Утро было дождливо и туманно – облака, задевая меня за голову, выжимали, как губки, на мне свою воду... В десяти шагах перед носом ничего нельзя было видеть... Не видя солнца, не зная места, напрасно бродил я вокруг до около... дорога убегала меня – усталость и голод томили. Застреленная из пистолета куропатка подкрепила на время силы – но все-таки не мог я найти выхода из этого каменного гроба. Только шум вод, ниспадающих с крутин, только шум крыльев пролетающих в туче орлов слышались мне вечером, а ночью дерзкие чакалы в трех шагах от меня заводили свою плачевную песню. Сегодняшним утром красно встало солнце, и сам я встал бодрее, направил бег к востоку – и скоро слышал крик и выстрелы... это были твои посланцы. Утомлен жаром, зашел я напиться чистой ключевой воды в старую мечеть и там нашел Селтанету. Благодарность тебе, – слава Богу!

– Слава Богу, хвала и тебе! – сказал, обнимая его, хан. – Но удалство твое чуть-чуть не стоило жизни твоей и вместе твоего товарища. Промедли ты день – он бы отправился плясать лезгинку на воздухе. Кстати явился ты. Джембулат, известный наездник Малой Кабарды, присылал звать тебя в набег на русских... вот достойное тебе поле. Вместо того чтоб дразнить судьбу, гоняясь за тиграми, – лучше гонять русских. Тебе же надо выкупить свою славу, плененную в прошлом бегстве... Время не терпит – завтра чем свет тебе должно отправиться.

Как ни досадна была такая весть Аммалату, но он скрепя сердце отвечал, что едет охотно... Он очень чувствовал, что громкое имя наездника есть порука будущих успехов.

Но Селтанета поблекла, склонилась, как цветок, головою, услышав о новой, грознейшей разлуке; взор ее, остановленный на Аммалате, выражал тоску опасения – боль предчувствия беды...

– Алла, – произнесла она с горестию, – опять набеги, опять убийство... Когда-то перестанет литься кровь на угориях?..

– Когда горные потоки потекут молоком и сахарный тростник заколышется на снежных вершинах, – сказал хан с усмешкою.

Глава IV

Дико прекрасен гремучий Терек в Дарьяльском ущелии. Там, как гений, черпая силы из небес, борется он с природой. Инде, светел и прям, как меч, рассекший гранитную стену, сверкает он между утесами. Инде, чернея от гнева, ревет и роется, как лютый зверь, под вековые громады: отрывает, рушит, катит вдаль их обломки. В бурную ночь, когда запоздалый всадник, завернувшись в косматую бурку, озираясь, едет по забережью, висящему над пучиною Терека, все ужасы, какие только породить может досужее воображение, – ничто в сравнении с истинными, его одолевающими. С глухим шумом крутятся дождевые потоки под ногами, падают на голову со скал, нахмуренных над нею и каждый миг грозящих подавлением. Вдруг, как лава, прорывается молния, и вы с ужасом видите только черную, расторгнутую тучу над собою, а под собою зияющую бездну, утесы по сторонам, и навстречу вам с крутизны ревуший, прышущий Терек, осыпанный огненной пеною. На один миг видите вы, как мутные, буйные волны его, словно адские духи, скачут, прядают, мечутся в бездну со стоном, пораженные мечом архангелов. Вслед им с грохотом катятся огромные камни. И вдруг, после ослепительного озарения молниею, вы опять погружены в черное море ночи – и вдруг за тем раздается выстрел грома, зыблущий основание скал, будто тысячи гор рушатся друг на друга: так вторят отголоски удару небес. Потом долгий, протяжный гул, будто стон оторванных с корней дубов, или звук сокрушенных скал, или вой раздавленных в бездне великанов, сливается с шумом ветра – и ветер превращается в ураган, и дождь низвергается ливнем. И снова молния слепит вас, и снова гром, на который отвечает вдали рокот обвалов, оглушает... камни сыплются мимо и звучно падают в воду... испуганный конь упирается, садится назад, фыркает, трепещет, грива его хлещет в глаза всадника – и всадник творит невольную молитву...

Но зато как приветливо заглядывает утро в ущелие, на дне которого бьет, и кипит, и плещется Терек! Облака, будто раздернутый полог, клубятся от ветра, и сквозь них являются и опять исчезают ледяные вершины. Точно резные из золота, лучи солнца рисуют зубчатые силуэты вершин восточных на противоположной стене гор. Скалы блестят, еще высеребранные дождевою влагою. Ключи и горные потоки пышны пеною, летят сквозь туман с крутин – и самые туманы Инде катятся вниз по ущелью, подобны потоку, Инде выются улиткою с ключа, будто дымок с хижины, Инде обвивают, как чалмой, одинокую, древнюю на утесе башню, а мрачный Терек прядает по камням и кружится, будто ищет места успокоиться.

Должно признаться, однако ж, что на Кавказе нет вод, в кои бы достойно могли глядеться горы – исполины творения. Нет на нем рек плавных, нет огромных озер, и Терек между громадами, его теснящими, кажется ручейком. Под Владикавказом, вырвавшись на долину, он, кажется, рад вольному раздолью: ходит по ней широкими кругами, разбрасывая похищенные в горах валуны. Дальше, уклоняясь к северо-западу, он все еще быстр, но менее шумен, будто усталый после трудного подвига. Наконец, охватив крутым поворотом мыс Малой Кабарды, он, как мусульманин, набожно обращается к востоку и, мирно напоя враждующие берега, несется то по грядам камней, то по глинистым отмелям упасть за Кизляром в чашу Каспия. Тут уже он терпит на себе челны и, как работник, ворочает огромные колеса плавучих мельниц. По правому берегу его, между холмами и перелесками, рассеяны аулы кабардинцев, которых мы смешиваем в одно название черкесов, живущих за Кубанью, или чеченцев, обитающих гораздо ниже к морю. Побережные аулы сии мирны только по имени – но в самом деле они притоны разбойников, которые пользуются и выгодами русского правления, как подданные России, и барышами грабежей, производимых горцами в наших пределах. Имея всюду свободный вход, они извещают единоверцев и единомышленников о движении войск, о состоянии укреплений; скрывают их у себя, когда те собираются в набег; делят и перекупают добычу при возврате, снабжают их солью и порохом русскими и нередко участвуют лично в тайных и явных набегах.

Самое дурное, что, под видом этих мирных горцев, – враждующие нам народы безбоязненно переплывают Терек человека по два, по три, по пяти и среди белого дня отправляются на разбой, никем не преследуемые, ибо одежда их ничем не отлична. Наоборот, сами мирные, пользуясь этою отговоркою, нападают, когда в силах, открыто на проезжих – или похищают скот и людей украдкою, рубят без пощады или перепродают в плен далеко.

Правду сказать, местное положение их между двумя сильными соседями поневоле заставляет так коварствовать. Зная, что русские не успеют из-за реки защитить их от мести горцев, налетающих как снег, они по необходимости, равно как по привычке, дружат однокровным, но в то же время лисят перед русскими, которых боятся.

Конечно, между ними есть несколько человек истинно преданных русским, но большая часть даже и своим изменяет из награды, и то лишь при верном успехе, и то лишь до тех пор, покуда видит в том свою пользу. Вообще нравственность этих мирных самая испорченная: они потеряли все доблести независимого народа и уже переняли все пороки полуобразованности. Клятва для них игрушка, обман – похвальба, самое гостеприимство – промысел. Едва ли не каждый из них готов наняться поутру к русскому в кунаки, а ночью в проводники к хищнику, чтобы ограбить нового Друга.

Левый берег Терека унизан богатыми станицами линейских казаков, потомков славных запорожцев. Между ними кое-где есть крестьянские деревни. Казаки эти отличаются от горцев только небритою головою... оружие, одежда, сбруя, ухватки – все горское. Мило видеть их в деле с горцами: это не бой, а поединок, где каждый на славу хочет доказать превосходство силы, храбрости, искусства. Двое казаков не струсят четверых наездников, – в равном числе всегда победители. Почти все они говорят по-татарски, водят с горцами дружбу, даже родство по похищенным взаимно женам – но в поле враги неумолимые. Как ни запрещено переезжать на горную сторону Терека, но удалыцы отправляются туда вплавь, на охоту разного рода. В свою очередь горские хищники бродятся за Терек ночью или переплывают его на *бурдюках* (мехах), залегают в камыши или под навес берега, потом перелесками пробираются к дороге, чтобы увлечь в плен беспечного путника или захватить женщин на гребле сена. Случается, что самые отчаянные проводят дни по два в виноградниках при деревне, выжидая удобного случая напасть врасплох, и оттого линейский казак не ступит на порог без кинжала, не выедет в поле без ружья за спиной; он косит и пашет вооруженный.

В последнее время большими толпами горцы стали нападать только на крестьянские деревни, ибо в станицах отпор становился им очень дорог. Для угонки табунов они смело и глубоко впадают в границы наши, но в таком случае редко обходится без битвы. Самые лихие уздени стараются попасть в подобные наезды, чтобы снискать себе имя, которое ценят они выше всякой добычи.

Осенью, в 1819 году, кабардинцы и чеченцы, ободренные отсутствием главнокомандующего, собрались в числе полуторы тысячи человек сделать нападение на какую-нибудь деревню за Тереком, ограбить ее, увезти пленников, угнать табун. Предводителем был кабардинский князек Джембулат. Аммалат-бек, приехавший к нему с письмом от Султан-Ахмет-хана, был принят с радостью. Правду сказать, ему не дали никакого отряда, но это оттого, что у них нет никакого строя, ни порядка в войске – борзый конь и собственная запальчивость указывают каждому место в битве. Сначала сдумают, как завязать дело, как завлечь неприятеля... но потом нет ни повиновения, ни повеления, и случай доканчивает сражение. Обославшись с соседними узденями и наездниками, Джембулат назначил сборное место – и вдруг, по условному знаку, во всех ущельях раздался крик: «*Гарай! гарай* (Тревога)!», и в один час слетелись со всех сторон наездники чеченские и кабардинские. Во избежание измены никто не знал, кроме вождей, где будет ночлег, где переправа. Разделясь на небольшие кучки, пошли они по едва видимым тропам в мирный аул, где должно было скрыться до ночи. В сумерках все отряды уже сошлись туда. Разумеется, мирные встретили своих земляков с распростертыми

объятиями, но Джембулат, не доверяя этому, оцепил селение часовыми и объявил жителям, что если кто покусится уйти к русским, будет изрублен в куски. Большая часть узденей разошлась по саклям кунаков или родственников, но сам Джембулат с Аммалатом и лучшими наездниками остался на чистом воздухе, подле разведенного огня, покуда освежались усталые их кони. Джембулат, простершись на бурке, опершись рукою об руку, раздумывал распорядок набега; но далека была мысль Аммалата от поля битвы – она орленком носилась над горами Аварии, и тяжело-тяжко ныло сердце разлукою. Звук металлических струн горской балалайки (*комус*), сопровождаемый протяжным напевом, извлек его из задумчивости: то кабардинец пел песню старинную.

На Кас-бек слетелись тучи,
Словно горные орлы...
Им навстречу, на скалы,
Узденей отряд летучий
Выше, выше, круче, круче
Скачет, русскими разбит,
След их кровию кипит!

На хвостах полки погони:
Занесен и штык, и меч;
Смертью сеется картечь...
Нет спасенья в силе, в броне...
«Бегу, бегу, кони, кони!»
...Пали вы, – а далека
Крепость горного леска!¹⁸

Сердце наших русским мета...
На колени пал мулла –
И молитва, как стрела,
До пророка Магомета,
В море света, в небо света,
Полетела, понеслась:
«Иль Алла, не выдай нас!»

Нет спасенья ниоткуда!!
Вдруг, по манию небес,
Зашумел далекий лес.
Веет, плещет, катит грудой
Ниже, ближе, чудо, чудо!..
Мусульмане спасены
Средь лесистой крутизны!

– Так бывало в старину, – сказал с улыбкою Джембулат, – когда наши старики больше верили молитве, а Бог чаще их слушал; но теперь, друзья, лучшая надежда – своя храбрость. Наши чудеса в ножнах *шушки* (сабли) – и нам точно должно показать их, чтобы не осрамиться. Послушай, Аммалат, – примолвил он, крутя ус свой, – не скрою от тебя, что дело может быть

¹⁸ Редко случались примеры, чтобы мы стрелками своими могли выжить горцев из лесу, и потому лес считают они лучшей крепостью. Вся песня переведена почти слово в слово.

жаркое. Я сейчас проведаль, что полковник Коцарев собрал отряд свой, но где он? но сколько у него войска? этого никто не знает.

– Чем больше будет русских, тем лучше, – отвечал Аммалат спокойно, – тем менее будет промахов,

– Зато труднее добыча!

– По мне хоть бы век ее не было: я хочу мести, ишу славы!

– Хороша лишь та слава, которая несет золотые яйца, а то, с пустыми тороками воротятся домой, стыдно жене глаза показать. Близка зима: надобно запастись хозяйством на русский счет, чтобы угощать друзей и приятелей. Выбирай себе место, Аммалат-бек: хочешь, ступай в передовые – заскакать стадо; хочешь, останься со мной назади. Я с абреками шаг за шаг буду удерживать погоню!

– Разумеется, я буду там, где больше опасности, – но что такое абреки, Джембулат?

– Это нелегко тебе растолковать. Вот видишь, многие из самых удалых наездников иногда дают зарок года на два, на три, на сколько вздумается, не участвовать ни в играх, ни в веселиях, не жалеть своей жизни в набегах, не щадить врагов в битве, не спускать ни малейшей обиды ни другу, ни брату родному, не знать завету на чужое, не боясь преследований или мести; одним словом, быть неприятелем каждого, чужим в семье своей, которого каждый может, если сможет, убить. В ауле они опасные соседи, потому что, встречаясь с ними, надо всегда держать курок на взводе. Зато в деле на них первая надежда¹⁹.

– Для какой же выгоды, для какой причины берут на себя уздени такую обузу?

– Одни просто из молодечества, другие от бедности, третьи с какого-нибудь горя. Вон этот, например, высокий кабардинец поклялся пять лет быть абреком, после того как любовница его умерла от оспы. С тех пор лучше водить дружбу с тиграми, чем с ним. Он уж три раза ранен в оплату за кровь – а все неймется.

– Чудный обычай! Как же воротится абрек в мирную жизнь после такой жизни?

– Что тут мудреного: старое как с гуся вода. Соседы будут радехоньки, что срок ему кончился разбойничать; а он, скинув с себя абречество, будто змеиную шкурку, станет смирнее овна. У нас одни кровоместники помнят вчерашнее. Однако ночь стемнела; туман стелется над Тереком – пора за дело!

Джембулат свистнул – и свист его повторился во всех концах стана: вмиг собралась вся шайка. К ней присоединились многие уздени из окрестных мирных деревень. Потолковав с ними, где лучше переправиться, отряд в тишине двинулся к берегу. Аммалат-бек не мог надивиться молчаливости не только всадников, но и самих коней: ни один из них не ржал, не храпел и, будто остерегаясь, ставил копыто на землю. Отряд неся неслышным облаком; скоро добрались до берега Терека, который излучиною образовал в том месте мыс, и от него к противоположному берегу тянулась каменистая коса. Вода в то время была невысока и брод возможен; несмотря на это, часть отряда потянулась выше, для переправы вплавь, чтобы оттянуть казаков от главной переправы и прикрыть ее, ежели бы дали отпор. Те, которые надеялись на коней своих, прыгали прямо с берега. Другие подвязывали под передние лопатки по паре небольших мехов, надутых как пузыри. Быстрина сносила и разносила их, и каждый выходил на сушу, где находил удобное место, чтобы вскарабкаться коню. Непроницаемая завеса тумана скрывала все движение.

Надобно знать, что по всей горской прибрежной линии тянется маячная и сторожевая цепь. По всем курганам и возвышенностям стоят конные пикеты. Проезжая мимо днем, вы видите на каждом холме высокий шест с бочонком наверху: он полон смолой и соломой и готов вспыхнуть при первой тревоге. При этом шесте обыкновенно привязана казакская лошадь –

¹⁹ Это настоящие берсеркеры древних норманнов, которые, переходя в неистовство, рубили даже товарищей. Примеры такой безумной храбрости нередки между азиатами.

и подле нее лежит часовой. В ночь часовые удваиваются. Но, несмотря на такую предосторожность, черкесы, под буркой мрака и тумана, нередко малыми шайками протекают сквозь цепь, будто вода сквозь сито. Точно то же случилось и теперь: зная совершенно местность, *белады* (проводники) из мирных вели каждую партию и тихомолком миновали курганы. В двух только местах хищники, чтобы прервать линию маяков, могущих изменить им, решились снять часовых. На один пост отправился сам Джембулат, а нашему беку велел ползком выбраться на берег, обогнуть пикет сзади, сосчитать сто и потом ударить несколько раз в огниво. Сказано – сделано. Чуть подняв голову с забережья, весьма крутого, Джембулат высмотрел казака, дремлющего над фитилем, держа в поводу лошадь. Послышав шорох, часовой встрепенулся и устремил беспокойные взоры на реку. Боясь, чтобы тот не заметил его, Джембулат метнул вверх шапку и припал за кряж.

– Проклятая утица, – сказал донец. – Им и ночью масленица: плещутся да летают, словно ведьмы киевские.

Но в это время искры, мелькнувшие в другой стороне, привлекли его внимание.

«Неужто волки? – подумал он. – Бывает, они крепко сверкают глазами!»

Но искры посыпались снова – и он обомлел, вспомнив рассказы, что чеченцы дают такие сигналы, управляя ходом своих товарищей. Этот миг изумления и раздумья был мигом его гибели; кинжал, ринутый сильною рукою, свистнул – и пронзенный казак без стога упал на землю. Товарищ его был изрублен сонный, а вырванный шест с бочонком кинули в воду.

Быстро соединился весь отряд по данному знаку и разом устремился на деревню, на которую заранее предположено было напасть. Набег совершен был очень удачно, то есть вовсе неожиданно. Все крестьяне, которые успели вооружиться, были перебиты после отчаянного сопротивления; другие спрятались или разбежались. Кроме добычи, множество пленных и пленниц было наградой отваги. Кабардинцы вторгались в дома, уносили что поценнее или что второпях попадало под руку, но не жгли домов, не топтали умышленно нив, не ломали виноградников. «Зачем трогать дар Божий и труд человека», – говорили они, и это правило горского разбойника, не ужасающегося никаким злодейством, есть доблесть, которою бы могли гордиться народы самые образованные, если бы они ее имели. В час все было кончено для жителей, но не для грабителей: тревога распространилась уже по всей линии. Как утренние звезды, засверкали сквозь туман маяки – и призыв к оружию раздавался во всех сторонах.

Между тем несколько человек опытных наездников обскакали большой табун, далеко в степи ходивший. Пастух был захвачен сразу. С криком и выстрелами бросились они потом на коней с полевой стороны. . . кони шарахнулись – взбросили гривы и хвосты на ветер и стремглав кинулись вслед за черкесом, которого на лихом скакуне нарочно оставили на речной стороне, чтобы он был вожаком испуганного стада. Как добрый кормчий, зная и в туманах наизусть все опасности этого степного моря, черкес летел впереди прядающих коней, вился между постами и наконец, избрав самое крутое место берега, спрыгнул в Терек со всего рассказа. Весь табун за ним следом – только прыскала шумная пена от падения.

Занялась заря, расступились туманы и открыли картину вместе пышную и ужасную. Главная толпа наездников влачила с собою пленных, кого при стремени, кого за седлом, со связанными руками. Плач и стон и вопль отчаяния заглушались угрозами и неистовым криком победной радости. Отягощенные добычей, замедляемые в ходу стадами рогатого скота, они медленно подвигались к Тереку. Князья и лучшие наездники в кольчугах и шлемах, блистающих, переливающихся как вода, увивались около поезда, словно молнии из сизой тучи. Вдали со всех сторон скакали линейские казаки. . . залегали за дубы, за кустарники – и скоро завязали перепалку с высланными против них удалцами. Там и сям сверкали, гремели выстрелы; порой падал черкес с коня. Между этим передовые успели переплавить часть стада, когда пыльное облако и топот коней возвестили, что на них несется гроза. Сот шесть горцев, предводимых Джембулатом и Аммалатом, оборотили коней, чтоб отразить нападение и дать время своим

убраться за реку. Без всякого порядка, с гиком и криком пустились они навстречу казакам – но ни одно ружье не было вынуто из нагалища за спиною, ни одна шашка не сверкала в руках: черкес до последнего мгновения не обнажает оружия. И точно, доскакав лишь на двадцать шагов, они выхватили ружья свои, выстрелили на всем скаку, забросили ружья за левую руку – и ударили в шашки. Но линейские казаки, ответив им залпом, понеслись прочь, и, разгоряченные преследованием, горцы дались в обман, столь часто самими употребляемый. Казаки навели их на скрытых в опушке егерей храброго 43-го полка. Будто из земли выросли небольшие карей – штыки склонились, и белый огонь посыпался наперекрест. Напрасно, спешась, хотели они занять лески и с тыла ударить на наших... подоспевшая артиллерия решила дело. Опытный полковник Коцарев, гроза чеченцев, человек, которого они равно боялись храбрости и уважали праводушие, бескорыстие, распоряжал действиями войск, и успех не мог быть сомнителен... Пушки развеяли толпы хищников, и картечь прыснула в бегущих. Поражение было ужасно: две пушки заскакали на мыс, невдали от которого черкесы кидались вплавь с берега, и пронизывали вдоль всю реку. С ревом прыгала картечь по вспененным волнам – и за каждым выстрелом несколько лошадей обращались вверх ногами, утопляя своих всадников. Жалко было видеть, как раненные цеплялись за хвосты и узды чужих коней, – погружали их и не спасали себя, – как бились усталые у крутого берега, желая выползть, обрывались – и несытая пучина уносила, поглощала их. Трупы убитых неслись между полуживыми, и кровавые полосы змеями вились по белой пене; дым катился по Тереку, и вдали снеговые вершины Кавказа, нахмуренные туманами, грозно замыкали поле боя.

Джембулат и Аммалат-бек дрались как отчаянные: двадцать раз опрокинуты и двадцать раз нападая – утомлены, но не побеждены, с сотнею удалцов переплыли они за реку, спешились, сбатовали коней²⁰ и завели жаркую перестрелку с другого берега, чтобы прикрыть остальных спутников. Занятые этим, они поздно заметили, что выше их плавают за реку линейские казаки наперерез им. С радостным криком перескакивали, окружали их русские... Гибель им неизбежна.

– Ну, Джембулат, – сказал бек кабардинцу, – судьба наша кончилась... Делай сам как хочешь, но я не отдамся в плен живой. Лучше умереть от пули, чем от позорной веревки.

– Не подумаешь ли ты, – возразил Джембулат, – что мои руки сделаны для цепей? Сохрани меня Алла от такого поношения! Русские могут полонить мое тело, но душу – никогда, никак. Братцы, товарищи, – крикнул он к остальным, – нам изменило счастье – но булат не изменит: продадим дорого жизнь свою гяурам – не тот победитель, за кем поле, – тот, за кем слава, – а слава тому, кто ценит смерть выше плену!

– Умрем, умрем! только славно умрем! – закричали все, вонзая кинжалы в ребра коней своих, чтобы они не достались врагам в добычу, и потом, сдвинув из них завал, залегли за него, приготовляясь встретить нападающих свинцом и булатом.

Зная, какое упорное сопротивление встретят, казаки остановились, собираясь, готовясь на удар. Ядра с противоположного берега иногда ложились в круг бесстрашных горцев; порой разрывало между них гранату, осыпая их землей и осколками, но они не смущались, не прятались и, по обычаю, запели грозно-унылым голосом смертные песни, отвечая по очереди куплетом на куплет.

²⁰ Русской коннице не худо бы перенять горский образ батовать (*связывать при спешивании*) коней. Мы батуем, продевая повод в повод, но для этого нужно много сторожей, и лошади имеют слишком много места беситься. Черкесы, напротив, ворочают через одну лошадь головой к хвосту, продевают повод сквозь пахвы соседней и потом уже петляют в узду третьей. От этого кони не могут шевельнуться, так что можно их оставлять без надзора.

Смертные песни

Хор

Слава нам, смерть врагу,
Алла-га, Алла-гу!!

<Первый> полухор

Плачьте, красавицы, в горном ауле,
Правьте поминки по нас:
Вслед за последнею меткою пулей
Мы покидаем Каф-каз.

Здесь не цевница к ночному покою,
Нас убаюкает гром;
Очи не милая черной косою –
Ворон закроет крылом!
Дети, забудьте отцовский обычай:
Он не потешит вас русской добычей!

Второй полухор

Девы, не плачьте – ваши сестрицы,
Гурии, светлой толпой,
К смелым склоняя солнцы-зеницы,
В рай увлекут за собой.

Братья, вы нас поминайте за чашей,
Вольная смерть нам бесславия краше!

Первый полухор

Шумен, но краток вешний ключ!
Светел, но где он – зарницы луч?

Мать моя, звезда души,
Спать ложись, огонь туши!
Не томи напрасно ока,
У порога не сиди;
Издалека, издалека
Сына ужинать не жди.
Не ищи его, родная,
По скалам и по долам:
Спит он... ложе – пыль степная,
Меч и сердце пополам!

Второй полухор

Не плачь, о мать! твоею любовью
Мне билось сердце высоко,
И в нем кипело львиной кровью
Родимой груди молоко;
И никогда нагорной воле
Удалый сын не изменял:
Он в грозной битве, в чуждом поле,
Постигнут Азраилом, пал.
Но кровь моя на радость краю
Нетленным цветом будет цвести;
Я детям славу завещаю,
А братьям – гибельную месть!

Хор

О братья! творите молитву;
С кинжалами ринемся в битву!
Ломай их о русскую грудь...
По трупам бесстрашного путь!

Слава нам, смерть врагу,
Алла-га, Алла-гу!

Поражены каким-то невольным благоговением, егеря и казаки безмолвно внимали страшным звукам их песен, но наконец громкое «ура!» раздалось с обеих сторон²¹.

Черкесы вскочили с воплем, выстрелили в последний раз из ружей и, разбив их о камни, кинулись на русских с кинжалами. Абреки, чтоб не разорваться в натиске, связались друг с другом поясками и так бросились в сечу – она была беспощадна – все пало под штыками русских.

– Вперед, за мной, Аммалат-бек, – вскричал неистовый Джембулат, кидаясь в последнюю для него схватку. – Вперед, для нас смерть – свобода!

Но Аммалат уже не слышал призыва: удар сзади прикладом по голове поверг его на землю, усеянную убитыми, залитую кровью.

²¹ Ур, ура – значит *бей* по-татарски. Нет сомнения, что этот крик вошел у нас в употребление со времени владычества монголов, а не со времени Петра, будто бы занявшего «hurra!» у англичан.

Глава V

Письмо полковника Верховского к его невесте

Из Дербента в Смоленск

1819 года, в октябре.

Два месяца, легко сказать! два века – ползло до меня, бесценная Мария, письмо твое! В это время луна дважды совершила свое путешествие около земли. Не поверишь, милая, как грустно мне жить без настоящего, даже в самой переписке. За воротами встречаешь казака, с трепетом сердца ломаешь печать, с восхищением целуешь строки, написанные милою рукою, внушенные чистым сердцем твоим... с жадною радостью пожираешь очами письмо... в то время я счастлив, я вне себя. Но едва закрою письмо, беспокойные мысли уж тут как тут... бее это прекрасно, думается, но все это *было* – а я хочу знать, что *есть*? Здорова ль, любит ли она меня теперь по-прежнему?... О, скоро ль, скоро ль придет блаженное время, когда ни время, ни пространство не будут разлучать нас; когда выражения любви нашей не будут простывать на почте иль, наоборот, когда не станут пылать письма любовью, может быть теперь уже остывшею!! Прости, прости меня, бесценная, – все такие черные думы – припадки разлуки. Сердце близ сердца – жених всему верит, в удалении – во всем сомневается.

Ты велишь мне, то есть ты желаешь, чтобы я описывал жизнь свою день за днем, час за часом, – о, какая бы грустная, скучная летопись была, если б я на то решился. Ты очень хорошо знаешь, злая женщина, что я не живу без тебя, – зачем же морить меня дважды и один раз несносною разлукою? Мое бытие – след цепи на бесплодном песке. Одна служба, утомляя, если не развлекая, меня, пособляет коротать время. Брошен в климат, убийственный для здоровья, в общество, удушающее душу, я не нахожу в товарищах людей, которые бы могли понять мои мысли, не нахожу в азиатцах, кто бы разделил мои чувства. Все окружающее меня так дико или так ограничено, что берет тоска и досада. Скорей добудешь огня, ударяя лед о камень, чем занимательность из здешнего быта. Но мне евдтыня твое желание, и я хоть в перечне представлю прозябание последней моей недели: она еще более разнообразна, чем другие.

Помнится, я уже писал, что мы возвращаемся с главнокомандующим из похода в Акушу. Мы свое справили: Шах-Али-хан бежал в Персию; мы сожгли множество деревень; спалили сена, хлеб, покушали мятежнических баранов, и наконец, когда снег согнал непокорных с вершин недоступных, они поклонились головою, дали заложников – и вот мы поднялись в Бурную крепость. Оттуда отряд должен был разойтись по зимним стоянкам, в том числе и мой полк в свою штаб-квартиру Дербент. Назавтра главнокомандующий хотел распрощаться с нами, отправляясь в другой поход на линию, и потому народу собралось к обожаемому начальнику более обыкновенного. Алексей Петрович вышел к нам из палатки, к чаю. Кто не знает его лица по портрету? Но тот вовсе не знает Ермолова, кто станет судить о нем по мертвому портрету. Мне кажется, ни одно лицо не одарено такою беглостью выражения, как его! Глядя на эти черты, вылитые в исполинскую форму старины, невольно переносишься ко временам римского величия; про него недаром сказал поэт:

Беги, чеченец, – блещет меч
Карателя Кубани;
Его дыханье – град картечь,
Глагол – перуны брани!
Окрест угрюмого чела
Толпятся роки боя...

Взглянул – и гибель протекла
За манием героя!

Надобно видеть его хладнокровие в час битвы. Надо любоваться им в день приемов, то осыпая восточными цветами азиатцев, то смущая их козни замечанием (напрасно прячут они свои коварные замыслы в самые сокровенные складки сердца – его глаз преследует, разрывает их, как червей, и за двадцать лет вперед угадывает их мысли и дела), то дружески открыто приветствующим храбрых офицеров своих, то с величавой осанкою пробегающим ряды гражданских чиновников, приехавших в Грузию на ловлю чинов или барышей. Забавно глядеть, как все, у которых нечиста совесть, мнутя, краснеют, бледнеют, когда он вперит в них пронзительный, медленный взор свой, – вы, кажется, видите, как перед глазами у виноватого проходят взяточные рубли, а в памяти – все его бездельничества... видите, какие картины ареста, следствия, суда, осуждения и наказания рисует им воображение, забегая в будущее. Зато как он умеет отличить достоинство одним взором, одною улыбкою, наградить отвагу словом, которое идет прямо от сердца и прямо к сердцу, – ну, право, дай Бог век жить и служить с таким начальником.

Но если любопытно видеть его на службе, как приятно быть с ним запросто в беседе, куда каждый из людей, отличных чином, храбростию или умом, имеет свободный доступ; там нет чинов, нет завета; всяк говори и делай что хочешь, потому что только те, которые думают и делают как *должно*, составляют общество. Алексей Петрович шутит со всеми, как товарищ, учит, как отец, – он не боится, что его увидят вблизи.

По обыкновению, во время чаю один из адъютантов его читал в этот раз вслух записки наполеоновского похода в Италию – эту поэму военного искусства, как называет ее главнокомандующий. Дивились, рассуждали, спорили. Замечания Алексея Петровича были светозарны, поразительны истиною. Потом пошли гимнастические игры: беганье, прыганье через огонь, пытанье силы разными образами. Вид и вечер были прелестнейшие: лагерь раскинут был обок Тарков. Над ними висит крепость Бурная, за которую склонялось солнце, – под скалою дом шамхала – потом по крутому склону город, объемлющий лагерь, и к востоку необозримая степь Каспийского моря. Татарские беки, черкесские князья, казаки с разных рек необъятной Руси, аманаты с разных гор мелькали между офицерами. Мундиры, чухи, кольчуги перемешаны были живописно; песельники, музыка гремели посреди стана, и солдаты, гордо заломив шапки набекрень, толпами гуляли вдаль. Все пленило пестротой, изумляло разнообразием, радовало свежестью, силою боевой жизни.

Капитан Бекович похвалился, что он отсечет кинжалом²² голову буйволу, и сейчас привели две пары этих нескладных животных. Держали заклады, спорили, сомневались – капитан улыбался: взмахнул левою рукою огромный кинжал – и рогатая голова покатила к ногам удивленных зрителей. Но за удивлением родилось желание сделать то же: давай рубить – все напрасно. В свите Алексея Петровича было много силачей и удалцов из русских и азиатцев, – но для этого нужна была не одна сила.

– Дети вы дети! – сказал главнокомандующий и встал – велел принести свою саблю, свой меч, не ударяющий дважды, как говаривал он. При тащили огромную тяжелую саблю – и Алексей Петрович, как ни был уверен в силе своей, но, подобен Улиссу в «Одиссее», намазывающему елеем лук свой, которого никто не мог натянуть, сперва попытал лезвие, раза три махнул саблей в воздухе – и потом уже приступил к делу... Закладчики не успели ударить по рукам, как голова буйвола вонзилась рогами в землю. Удар был так быстр и верен, что туловище несколько минут стояло на ногах и потом тихо, тихо рухнуло. Крик изумления вырвался у всех; Алек-

²² Очень забавно неверие европейцев к тому, что кинжалом можно отрубить голову; стоит пожить педелью в Азии для убеждения в противном. Кинжал в опытной руке стоит и топора, и штыка, и сабли.

сей Петрович хладнокровно посмотрел, не иззубрилась ли сабля, стоящая нескольких тысяч, и подарил ее в знак памяти капитану Бековичу.

Мы еще жужжали между собою, когда к главнокомандующему явился офицер линейских казаков с донесением от полковника Коцарева, который оставался на линии.

Прочитав рапорт, Алексей Петрович разгладил чело.

– Коцарев славно пощипал горцев, – сказал он нам. – Бездельники эти сделали набег за Терек, далеко прорвались за линию, пограбили одну деревню – но не только потеряли обратно полон, но все легли жертвою безрассудного молодечества.

Расспросив подробно есаула, как было дело, он велел привести пленников, которых нашли ранеными и оживили. Пятерых привели перед главнокомандующего.

Туча налетела на его чело, когда он их увидел; брови сошлись, очи Сверкнули.

– Мерзавцы! – сказал он узденям. – Вы три раза присягали не разбойничать и три раза нарушали присягу. Чего недостает вам? лугов ли? стад ли? защиты ли того и другого? Так нет, вы хотите брать с русских награды за имя мирных и добычу, наводя черкесов на наши деревни, разбойничая с ними вместе! Повесить их, – сказал он грозно, – повесить на собственных воровских арканах. Пусть только бросят жребий: четвертому воля... велеть ему рассказать своим товарищам, что я приду научить их держать слово и *замирить* по-своему.

Узденей вывели.

Оставался один татарский бек – и мы лишь тогда обратили на него внимание. Это был молодой человек, лет двадцати трех, красоты необыкновенной, строен, как Аполлон Бельведерский. Он слегка поклонился главнокомандующему, когда тот подошел к нему, приподнял шапку и снова принял свою гордую, хладнокровную осанку: на лице его была написана непоколебимая покорность к судьбе своей.

Главномандующий смотрел ему в очи грозными своими очами – но тот не изменился в лице, не опустил ресниц.

– Аммалат-бек, – сказал наконец ему Алексей Петрович, – помнишь ли ты, что ты русский подданный? Что над тобой стоят русские законы?

– Мне нельзя было забыть этого, – отвечал бек, – если б в них я нашел защиту прав моих, теперь бы не стоял перед вами виновником!

– Неблагодарный мальчик! – возразил главнокомандующий, – отец твой, ты сам враждовал против русских... Будь это при персидском владении, семьи твоей не осталось бы праха, но наш государь был так великодушен, что вместо казни даровал тебе владение. И чем заплатил ты за милость – тайным ропотом и явным возмущением! Этого мало: ты принял и скрыл у себя заклятого врага России, ты позволил ему при своих глазах предательски изрубить русского офицера! Со всем тем, если б ты принес покорную голову, я бы простил тебе за твою молодость, для обычаев ваших. Но ты бежал в горы и вместе с Султан-Ахмет-ханом злодействовал в границах русских, был разбит и снова сделал набег с Джембулатом. Ты должен знать, какая судьба ждет тебя.

– Знаю, – отвечал Аммалат-бек хладнокровно. – Меня расстреляют.

– Нет; пуля – слишком благородная смерть для разбойника, – произнес разгневанный генерал. – Арбу вверх оглоблями и узду на шею – вот тебе достойная награда.

– Все равно как ни умереть, только бы умереть скоро, – возразил Аммалат, – я прошу одной милости – не терзать меня судом – это тройная смерть.

– Ты стоишь сотни смертей, дерзкий! но я обещаю тебе, так и быть, что завтра же тебя не станет. Нарядить военный суд, – сказал главнокомандующий, обращаясь к начальнику своего штаба. – Дело ясное, улики налицо – и потому кончить все в одно заседание к моему отъезду.

Он махнул рукою, и осужденного вывели.

Участь прекрасного юноши тронула всех. Все шептались о нем, все его жалели, тем более что не было средств его спасти. Каждый очень хорошо знал и необходимость нака-

зания за двукратную измену и неизменную волю Алексея Петровича в делах такой гласности – а потому никто не осмеливался просить за несчастного. Главнокомандующий был необыкновенно угрюм во весь остаток вечера; гости разошлись рано. Я решился замолвить за него слово, – авось, думаю, выпрошу какое-нибудь облегчение. Я отдернул полу внутренней палатки – и потихоньку вошел к Алексею Петровичу. Он сидел один, подпершись обеими руками о стол, на котором лежало недописанное им прямо набело донесение к государю. Алексей Петрович знал меня еще свитским офицером; мы знакомы с ним с Кульмского поля... Здесь он был всегда ко мне очень хорош – и потому посещение мое не могло для него быть новостью. Значительно улыбнувшись, он сказал:

– Вижу, вижу, Евстафий Иванович, ты крадешься под мое сердце! Обыкновенно тыходишь ко мне как на батарею, а теперь чуть ступаешь на цыпочках, – это недаром: я уверен, что с просьбой за Аммалата!

– Вы угадали, – отвечал я Алексею Петровичу, не зная, с чего начать.

– Садись же и потолкуем о том, – произнес он... потом, помолчав минуты две, дружески сказал мне: – Я знаю, что про меня идет слава, будто жизнь людей для меня игрушка, кровь их – вода. Самые жестокие завоеватели скрывали под личиной милосердия кровожадность свою. Они боялись ненавистной молвы, совершая ненавистные дела, – но я – я умышленно создал себе такую славу, нарочно облек себя ужасом. Хочу и должен, чтобы имя мое стерегло страхом границы наши крепче цепей и крепостей, чтобы слово мое было для азиатцев верней, неизбежнее смерти. Европейца можно убедить, усостыжить, тронуть кротостью, привязать прощением, закабалить благодеяниями – но все это для азиатца несомненный знак слабости, и с ними я, прямо из человеколюбия, бываю жесток неумолимо. Одна казнь сохранит сотни русских от гибели и тысячи мусульман от измены. Евстафий Иванович! Многие могут не верить словам моим, потому что всякий скрывает природную злость и личную месть под отговорками в необходимости... всякий с чувствительною ужимкою говорит: «Право, я бы сердечно хотел простить – но рассудите сами: могу ли я? Что после этого законы? Где общая польза?» Я никогда не говорю этого... на глазах моих не видят слезинки, когда я подписываю смертные приговоры, но сердце у меня обливается кровию!

Алексей Петрович был тронут... в волнении он прошелся несколько раз по палатке – потом сел и продолжал:

– Никогда со всем тем не была столь тяжка для меня обязанность наказывать, как сегодня. Кто, подобно мне, потерся между азиатцами, тот, конечно, перестал верить Лафатеру и прекрасному лицу верит не более как рекомендательному письму; но взгляд, но поступь и осанка этого Аммалата произвели на меня необыкновенное впечатление – мне стало жаль его.

– Великодушное сердце – лучший вдохновитель разума, – сказал я.

– Сердце должностного человека, любезный друг, должно быть навтыяжку перед умом. Конечно, я *могу* простить Аммалата, но я *должен* казнить его. Дагестан еще кипит врагами русских, несмотря на поклоны и уверения в преданности; самые Тарки готовы подняться при первом ветре с гор – надобно пересечь эти ковы казнию и показать татарам, что никакая порода не спасает преступника, что все равны перед лицом русского закона. Прости же я Аммалата – как раз все родственники наказанных прежде станут славить, что Ермолов побоялся шамхала.

Я заметил, что уважение к обширному родству его будет иметь доброе влияние на край. Особенно шамхал...

– Шамхал – азиатец, – прервал меня Алексей Петрович, – он будет радехонек, что этот претендент на шамхальство отправится в Елисейские. Впрочем, я столь же мало забочусь угадывать или угождать желаниям его родственников...

Видя, что главнокомандующий поколебался, я стал его упрашивать убедительнее.

– Заставьте меня служить за троих, – говорил я, – не отпускайте этот год в отпуск, только помилуйте этого юношу. Он молод, и Россия может найти в нем верного слугу... великодушные никогда не падают напрасно.

Алексей Петрович качал головою.

– Я уже сделал много неблагодарных, – сказал он, – впрочем, так и быть: я его прощаю, – и не вполнину: это не моя манера. Спасибо тебе, что ты помог мне решиться быть добрым, чтобы не сказать слабым. Только помни мое слово: ты хочешь взять его к себе, – не доверяйся же ему, не отогревай змеи на сердце.

Я был так рад успехом, что, поблагодаря наскоро главнокомандующего, побежал в палатку, в которой содержался Аммалат-бек. Трое часовых окружали ее – в середине горел фонарь. Вхожу; пленник лежит на бурке: на лице сверкают слезы. Он не слышал мой приход, так глубоко погружен был в думу: кому весело расстаться с жизнью. Я был счастлив, что могу обрадовать его в такую горькую минуту.

– Аммалат! – сказал я. – Аллах велик, а сардар милостив, – он дарует тебе жизнь!

Восхищенный осужденник вскочил, хотел было говорить, но дух занялся в груди его – и вдруг за тем тень сомнения покрыла его лицо.

– Жизнь... – произнес он. – Я понимаю это великодушие. Истомить человека в душной тюрьме без света и воздуха или заслать его в вечную зиму, в нерассветающую ночь; погребсти его заживо в утробе земли и в самой могиле мучить каторгою... отнять у него не только волю действовать, не только удобства жить, но даже средства говорить с родными о печальной судьбе своей; запрещать ему не только жалобу, но даже ропот на ветер, – и это называете вы жизнью, и этою-то бесконечною пыткой хвалитесь как неслыханным великодушием! Скажите генералу, что я не хочу такой жизни, что я презираю такую жизнь!

– Ты ошибаешься, Аммалат, – возразил я, – ты прощен вполне; останешься тем же, чем был прежде; господин своим поместьям и поступкам, – вот твоя сабля. Главнокомандующий уверен, что ты отныне будешь обнажать ее только за русских. Предлагаю тебе одно условие: поживи со мной, покуда перепадет молва о твоём походе. Ты будешь у меня как друг, как брат родной.

Это изумило азиатца. Слезы брызнули у него из глаз.

– Русские меня победили... – вскричал он. – Простите, полковник, что я думал худо обо всех вас. С этой поры я верный слуга русскому царю, верный друг русским, душой и саблею. Сабля моя, сабля! – примолвил он, разглядывая драгоценный клинок свой, – пускай эти слезы смоят с тебя русскую кровь и татарскую нефть!²³ Когда и чем могу заслужить я за жизнь, за волю!

Я уверен, милая Мария, ты сохранишь для меня за это дело один из самых сладостных поцелуев своих. Всегда, всегда поступая, чувствуя великодушно, я утешал себя мыслию: Мария меня похвалит за это... Но когда *ж* это будет, бесценная? Судьба нам мачеха. Твой траур длится... а мне главнокомандующий решительно отказал в отпуске, и я не сержусь, хоть очень досаую. Полк мой расстроен как только можно вообразить, – к тому же мне поручены постройки новых казарм и поселение женатых рот. Уезжай я на месяц, и все пойдет вверх дном... остаюсь, но что стоит эта жертва моему сердцу!

Вот уже мы три дни в Дербенте. Аммалат живет со мною. Молчит, грустит, дичится... но страх занимателен, несмотря на это. Он хорошо говорит по-русски – я заставил его учиться грамоте. Понятливости необычайной; со временем я надеюсь сделать из него премилого татарина.

(Окончание письма не касается нашего предмета.)

²³ Для черноты и предохранения от ржавчины клинки копят и мажут нефтью.

Отрывок из другого письма полковника Верховского к его невесте, полгода спустя

Из Дербента в Смоленск

...Любимец твой Аммалат, милая Мария, скоро совсем обрусее. Татарские беки первую степень образования считают обыкновенно беззастенчивое употребление вина и свинины – я, напротив, начал перевоспитывать душу Аммалата. Выказываю, доказываю ему, что есть дурного в их обычаях, что хорошего в наших; толкую истины всеместные и всевечные. Читаю с ним, приохочиваю к письму и с радости вижу, что он пристрастился к чтению и к сочинению. Говорю «пристрастился», потому что каждое его желание, прихоть, воля есть страсть пылкая, нетерпеливая. Трудно вообразить, еще труднее понять европейцу вспыльчивость необузданных или, лучше сказать, разнузданных страстей азиатца, у которого с самого младенчества одна воля была границей желаний. Наши страсти – домашние животные иль хоть и дикие звери, но ручные, смирные, выученные плясать по веревке приличий, – с кольцом в носу, с обстриженными когтями; на востоке они вольны, как тигры и львы. Любопытно взглянуть на лицо Аммалата, каким заревом загорается оно при первом противоречии, каким огнем загораются очи при каждом споре... но зато, едва почувствует он свою ошибку, он краснеет, бледнеет, готов плакать. «Я виноват, – говорит он, – прости меня, *тахсырумдан гичь* (уничтожь вину), забудь, что я виноват и что ты прости меня!» Он имеет предоброе сердце, но сердце, готовое вспыхнуть и от солнечного луча и от адской искры. Природа на зубок подарила ему все, чтоб быть человеком в нравственном и физическом смысле, но предрассудки народные и небрежность воспитания сделали все, чтоб изурочить, изувечить эти дары природы. Ум его – чудное смешение всяких несообразностей, мыслей самых нелепых и понятий самых здравых. Иногда он чрезвычайно быстро схватывает предметы отвлеченные, когда их просто излагают ему, и нередко упорно противится самым близким, самым очевидным истинам, оттого что первые для него вовсе новы, а другие заслонены уже от него прежними верованиями и впечатлениями. Начинаю верить, что гораздо легче строить вновь, чем перестраивать старое.

Но отчего грустен и рассеян Аммалат наш? Он делает большие успехи во всем, что не требует последовательного размышления, постепенного развития – но когда дело коснется до далеких выводов, ум его походит на короткое ружье, которое бьет метко и сильно – только недалеко... Но полно, ум ли его виноват в том – не поглощено ли его внимание чем-нибудь другим?.. Для двадцать третьего года возраста легко можно сказать, что такое это другое. Иногда он, кажется, внимательно слушает мои рассказы, – спрошу ответа, – а он будто с облаков падает; иногда застаю, что слезы градом катятся у него по лицу, говорю ему, – не видит и не слышит. В прошлую ночь, наконец, он метался в беспокойном сне, и слово: «*Селтанет, Селтанет* (власть, власть)!» – вырывалось часто из уст его. Ужели властолюбие может так мучить юное сердце? Нет, нет, иная страсть волнует душу, возмущает ум Аммалата... Мне ли сомневаться в признаках божественной болезни – любви! Он влюблен, он страстно влюблен... но в кого? О, я узнаю это... дружба любопытна, как женщина.

Глава VI

Выдержки из записок Аммалат-бека

(перевод с татарского)

...Спал ли я до сих пор, или теперь во сне мечтаю?.. Так этот-то новый мир называется *мыслию!* Прекрасный мир! Ты долго был для меня мутен и слитен, как Млечный Путь, который, говорят, составлен из тысячи тысяч сверкающих звезд! Мне кажется, я всхожу на гору познания из мрака и тумана... каждый шаг открывает мне зрение шире и далее... грудь моя дышит свободнее, я гляжу в очи солнцу... гляжу вниз – облака шумят под ногами!.., досадные облака! С земли вы мешаєте видеть небо; с неба разглядывать землю!

Дивлюсь, как самые простые вопросы *отчего* и *как* не западали мне в голову прежде? Весь Божий свет, со всем, что в нем есть худого и хорошего, ви́ден был в душе моей, будто в море, – только я знал о том столько же, как море или как зеркало. На памяти, правда, сохранялось многое, но к чему мне служило это? Понимает ли сокол, для чего ему надевают на глаза шапочку? понимает ли конь, для чего куют его? Понимал ли я, почему в одном месте необходимы горы, а в другом степи? – там вечные снега, а там океаны песков; для чего нужны бури и трепетания земли? И ты, всего чуднейший человек!.., мне и на мысль не впадало, чтобы следить тебя от колыбели твоей, повешенной на кочевом выюке, до города пышного, какого я не видал, но каким, по слухам, восхищен!.. Сознаюсь, что я пленен уже одною оболочкою книги, не постигая смысла таинственных букв... но Верховский не только манит меня к познанию, но дает и средства присвоить их. С ним, как с матерью молодая ласточка, пытаю новые крылья... Даль и вышина еще дивят меня, но не ужасают. Придет пора, и я облечу поднебесье!..

...Однако счастливей ли я с тех пор, как Верховский и его книги учат меня мыслить? Бывало, борзый конь, дорогая сабля, меткое ружье радовали меня, как ребенка... Теперь, познав преимущества ума над телом, для меня смешна, чуть не жалка прежняя моя похвальба стрельбой и скачкою! Стоит ли посвящать себя ремеслу, в котором последний широкоплечий нукер может победить меня?.. Стоит ли полагать славу и счастье в удалстве, которого может лишиться первая рана, первый неловкий скачок!! У меня вырвали эту гремушку; но чем заменили ее?.. новыми нуждами, новыми желаниями, коих не может ни утомить, ни утолить сам Алла. Я считал себя важным человеком – я убедился теперь в своем ничтожестве. Прежде за памятью моего деда или прадеда начиналась для меня ночь прошлого, со своими сказками и грезами преданий... Кавказ запирает свет мой – но я спокойно спал в этой ночи, я полагал: быть известным в Дагестане – вершина знаменитости – и что же? История населила прежнюю пустыню мою народами, крушившими друг друга со славою, героями, изумлявшими народы доблестью, до которой никогда нам не удастся возвыситься, – и где они? полузабыты, стлели во прахе веков. И что ж? Описание земель показало мне, что татары занимают уголок света, что они жалкие дикари в сравнении с европейскими народами и что о целом составе их, не только об их наездниках, никто не думает, не знает, да и знать не хочет! Стоит ли же труда быть светляком между червями? Стоило ли напрягать ум, чтобы убедиться в такой горькой истине!

Что мне пользы в познании сил природы, когда я не могу переменить души своей... повелевать своему сердцу! Меня учат заграждать море, а я не могу удержать слезы... отвожу

молнию от кровли, а не могу стряхнуть кручины!! Не довольно ли я был несчастлив одними чувствами, чтобы накликать мыслей, как ястребов! Много ли выигрывает больной, узнав, что болезнь его неисцелима!.. Мучения безнадежной любви моей стали тонее, острее, разнообразнее с тех пор, как прояснел мой разум.

Нет, я несправедлив. Чтение сокращает мне долгие, как зимняя ночь, часы разлуки. Приучив меня ловить на бумагу перелетные мысли, Верховский дал мне отраду сердечную. Когда-нибудь свижусь я с Селтанетою – и покажу ей эти страницы, на которых имя ее чаще, нежели имя Аллы в Коране... «Вот летопись моего сердца, – скажу я ей, – погляди сюда: в такой-то день я то-то о тебе думал, в такую-то ночь я вот как видел тебя во сне! По этим листкам, как по четкам алмазным, ты можешь счесть мои воздыхания, мои по тебе слезы. О милая, милая! ты не раз улыбнешься моим причудливым мечтам; они дадут надолго пищу разговорам нашим!.. Но возмогу ли я вспоминать прошлое подле тебя, очаровательница?.. нет, нет... все исчезнет тогда предо мною и вокруг меня, кроме настоящего блаженства: быть с тобою! О, как жарка и светла будет душа моя – растопленное солнце потечет во мне – я сам буду плавать в небе, как солнце! Забвение подле тебя сладостнее самой высокой мудрости!»

Читаю рассказы о любви... о прелестях женщин, об изменах мужчин, и ни одна из них не приблизится к моей Селтанете красотой души и тела – ни на одного из них не похож сам я. Завидую любезности, уму любовников книжных – но зато как вяла, как холодна любовь их! – это луч месяца, играющий по льду! Откуда набрались европейцы фарсийского пустословия, этого пения базарных соловьев, этих цветов, варенных в сахаре? Не могу верить, чтобы люди могли пылко любить и плодovито причитать о любви своей, словно наемная плакальщица по умерших. Расточитель раскидывает сокровище на ветер горстями; любитель хранит, лелеет его, зарывает в сердце кладом!

Я молод – и спрашиваю, что такое дружба? Имею друга в Верховском, друга нежного, искреннего, предупредительного, – и не есмь друг! Чувствую, упрекаю себя, что не отвечаю ему как должно, как он заслуживает... но в моей ли это воле?.. В душе нет места никому, кроме Селтанеты; в сердце нет иного чувства, кроме любви.

...Нет, не могу читать, не могу понимать, что толкует мне полковник!.. Я обманывал себя, воображая, что мне доступна лестница наук... я утомлен на первых ступенях, теряю терпение на первом затруднении... путаю нити, вместо того чтобы развивать их, дергаю, рву, – и добыча моя ограничивается немногими обрывками. Обнадеживание полковника принял я за собственные успехи... но кто, но что мешает этим успехам?.. То, что составляет счастье и несчастье моей жизни, – любовь. Во всем, везде вижу и слышу Селтанету, и часто одну только Селтанету. Устранить ее от мысли моей почел бы я святотатством; да если б и захотел, то не мог бы исполнить этой решимости. Могу ли я видеть без света? Могу ли дышать без воздуха? А Селтанета мой свет, мой воздух, жизнь моя, душа моя!!

...Рука моя дрожит, сердце рыщет в груди... Если бы я писал кровью моею, она бы сожгла бумагу. Селтанета! Образ твой преследует меня во сне и наяву! Воображение твоих прелестей опаснее для меня их близости! Дума, что я никогда не буду владеть ими, касаться их, может быть, видеть их, бросает меня в страстную тоску – я вместе таю и неистовствую!.. Припоминаю себе каждую милую черту твоего лица, каждое положение твоего стройного стана... и эту ножку – печать любви, и эту грудь – гранату блаженства!.. Память о твоём голосе заставляет дрожать душу, как струну, готовую порваться от высокого звука... А поцелуй твой! поцелуй, в котором я выпил твою душу!.., он сыплет розы и уголья на одинокое ложе мое... я сгораю;

жаркие уста томятся жаждою лобзания, рука хочет обвить стан твой, коснуться твоего колена!.. О, приди... прилети... чтобы я умер от наслаждения, как теперь умираю от скуки!..

Полковник Верховский, желая всеми способами рассеять печаль Аммалата, вздумал потешить его охотою на кабанов, любимым занятием дагестанских беков. На зов съехалось их человек двадцать, каждый со своими нукерами, каждый желая попытать счастья, прогарцевать на поле, похвалиться удалством.

Седой декабрь осыпал уже верхи окрестных гор порошею. По улицам Дербента кое-где лежал ледяной череп, но сверх его густыми волнами катилась грязь по зубристой мостовой. Лениво плескало море в затопленные башни сходящих в воду стен. Сквозь туман свистели крыльями стада стрепетов и дудаков; вереницы гусей с жалобным криком мелькали над валами: все было мрачно и угрюмо; даже глупо-несносный рев ослов, навьюченных хворостом на продажу, походил на плач по красной погоде. Присмирелые татары сидели на базарах, завертывая носы свои в шубы.

Но такая-то погода и мила охотникам. Едва городские муллы прокричали молитву, полковник с несколькими из своих офицеров, с городскими беками и Аммалатом ехал, или, лучше сказать, плыл, верхом по грязи. Поворотив к северу, все они выехали за город в главные ворота (Кырхлар-капи), убитые железными пластами. Дорога, ведущая к Таркам, бедна видами: кое-где вправо и влево гряды марены... потом обширные кладбища и, только к морю, редкие виноградники. Зато виды сего предместия гораздо величавее южных. Влево, на скалах, виднелись Кейфары, казармы Куринского полка, а по обеим сторонам дороги лежали в живописном беспорядке огромные камни, скаченные, сброшенные и оторванные силой вод с высот нагорных.

Лес, осыпанный инеем, густел по мере приближения к Велликенту, и на каждой версте свита Верховского возрастала прибывающими беглярами и агаларами²⁴.

Облава была закинута влево, и скоро слышались крик гаяльчиков, собранных с окрестных деревень. Охотники растянули цепь, кто на коне, кто спешась; скоро показались и кабаны.

Тенистые леса Дагестана, изобилующие дубами, искони служат притоном многочисленным стадам вепрей, и хотя татары, как мусульмане, считают грехом прикоснуться к нечистому животному, не только есть его мясо, но истреблять их почитают они делом достойным, по крайней мере они учатся на них стрелянию и с тем вместе показывают свое удалство, ибо преследование вепрей сопряжено с большими опасностями, требует искусства и твердости духа.

Растянутая цепь ловцов занимала большое пространство. Самые бесстрашные стрелки выбирали места самые уединенные, чтобы ни с кем не делить славы удачи и для того, что на безлюдье вернее бежит зверь. Полковник Верховский, надеясь на свои исполинские силы и меткий глаз, забрался далеко в чащу и остановился на полянке, на которой сходилась много кабаньих следов. Один-одинехонек, прислонясь к суку обрушенного дуба, наживал он добычи. То вправо, то влево от него раздавались выстрелы; порой мелькал вдали кабан за деревьями... наконец послышался треск валежника, и скоро потом показался необыкновенной величины вепрь, который несся через поляну, как из пушки пущенное ядро.

Полковник приложился – пуля свистнула, и раненый вепрь вдруг остановился, как будто от изумления, – но это было на миг; он с остервенением кинулся на выстрел; с оскаленных клыков его дымилась пена, глаза горели кровию, и он с визгом близился к неприятелю. Но Верховский не смутился, наживая его ближе... в другой раз брякнул курок... осечка! отсыревший порох не вспыхнул... Что оставалось делать охотнику? У него не было даже кинжала на поясе... Бегство было бы напрасно; вблизи, как нарочно, ни одного толстого дерева... только один сухой сук возвышался от лежащего подле него дуба, и Верховский бросился на него как

²⁴ Лар есть множественное число всех существительных в татарском языке, а потому бегляр значит беки, а галар – аги. Русские по незнанию употребляют иногда и в единственном так же.

единственное средство спасти себя от гибели. Едва успел он взобраться аршина на полтора от земли, рассвирепелый кабан ударил в сук клыком своим... затрещал сук от удара и от тяжести, на нем висящей; напрасно Верховский порывался вскарабкаться выше по обледенелой коре: руки его скользили, он сползал, а зверь не отходил от дерева, грыз его, поражал его своими острыми клыками, четвертью ниже ног охотника... С каждым мгновением ожидал Верховский, что он падет в жертву, – и голос его умирал в пустой окружности напрасно... Нет, не напрасно!

Конский топот раздался вблизи, и Аммалат-бек прискакал как иступленный, с поднятою пашкою. Завидя нового врага, вепрь обратился к нему навстречу, но прыжок коня в сторону решил бой – удар Аммалата поверг его на землю.

Избавленный Верховский спешил обнять своего друга, но тот в запальчивости еще рубил, терзал убитого зверя.

– Я не принимаю незаслуженной благодарности! – отвечал он наконец, уклоняясь от объятий полковника. – Этот самый кабан, в глазах моих, растерзал одного табасаранского бека, моего приятеля, когда он, промахнувшись по нему, занес ногу в стремя. Я загорелся гневом, увидя кровь товарища, и пустился в погоню за кабаном. Чаща помешала мне насесть на него по следу – я было совсем потерял его – и вот Бог привел меня достичь это проклятое животное, когда оно готово было поразить еще благороднейшую жертву – вас, моего благодетеля.

– Теперь мы квиты, любезный Аммалат! не поминай про старое. Сегодня же отомстим мы зубами этому клыкастому врагу за страх свой. Я надеюсь, ты не откажешься прикусать запрещенного мяса, Аммалат?

– И даже запить его шампанским, полковник. Не во гнев Магомету, я лучше люблю закалывать душу в пене вина, чем в правоверной водиче.

Облава обратилась в другую сторону... вдали слышались гай и крик и бубны гонящих татар; в другой стороне по временам раздавались выстрелы. Полковнику подвели коня, и он, любуясь надвое рассеченным кабаном, потрепал по плечу Аммалата, примолвив: «Молодецкий удар!»

– В нем разразилась месть моя, – возразил тот, – а месть азиатца тяжка!

– Ты видел, ты испытал, Аммалат, – сказал ласково полковник, – как мстят за зло русские, то есть христиане, – будь же это не в упрек, а в урок тебе!

И оба поскакали к цепи.

Аммалат-бек был чрезвычайно рассеян: он то не отвечал, то невпопад отвечал на вопросы Верховского, подле которого ехал, поглядывая во все стороны... Тот, думая, что он, как горячий охотник, занят поисками, оставил его и поехал далее. Наконец Аммалат увидел, кого ждал так нетерпеливо... к нему навстречу неся эмджек его, Сафир-Али, весь забрызган грязью, на дымящейся лошади. С восклицаниями: «Алейкюм-салам» – оба они спрыгнули с коней и сжали друг друга в объятиях.

– Итак, ты был там, ты видел ее, ты говорил с нею, – вскричал Аммалат, снимая с себя кафтан и задыхаясь от торопливости. – По лицу вижу, что ты привез добрые вести, и вот тебе моя новая чуха за это²⁵. Живы ли, здоровы ли, любят ли меня по-прежнему?

– Дай образумиться, – возразил Сафир-Али, – дай хоть дух перевести – ты насыпал столько расспросов, и сам я везу столько поручений, что они столпились, как бабы у дверей мечети, и растеряли свои башмаки. Во-первых, по твоему желанью, а по моему летанью, я был в Хунзахе. Пробрался так тихо, что не спугнул ни одного дрозда с дороги. Султан-Ах-мет-хан здоров и дома. Он расспрашивал о тебе, преважно качал головою и спросил, не нужно ли тебе веретена рассучивать дербентский шелк. Ханша посылает *чох селаммум* (много приветствий) и столько же сладких пирожков. Я выбросил их на первом привале: все изломались, проклятые. Сурхай-хан, Нуцал-хан...

²⁵ У татар неперменное обыкновение отдавать вестнику чего-нибудь приятного свою верхнюю, с плеча, одежду.

– Черт их побери одним разом... Что же Селтанета?

– Ага, наконец дотронулся до сердечной мозоли. Селтанета, милый мой, хороша, как небо с звездами, – только на этом небе я видел зарницу лишь тогда, как о тебе разговаривал. Она чуть не кинулась мне на шею, когда наедине я открыл ей причину моего приезда. Я наказывал ей верблужий выюк от тебя приветствий... уверил, что ты с любви к ней чуть жив, бедняга... а она так и заливается слезами!

– Милая, добрая душа!! Что же велела мне сказать она?

– Спроси лучше, чего не велела! Говорит, что, с тех пор как ты уехал, она и во сне не радовалась; что зимний снег выпал на ее сердце – и одно только свидание с милым, как внешнее солнце, может растопить его... Впрочем, если б мне дожидаться конца ее наказов, а тебе моих пересказов, то мы оба приехали бы в Дербент с седыми бородами. Со всем тем, она чуть не выгнала меня, торопя, – ей хотелось, чтобы ты ни минуты не сомневался в ее любви!

– Бесценная девушка... Не знаешь ты – да и сам я не умею высказать, какое блаженство мне быть с тобой, какое мученье быть в разлуке, – не видеть тебя.

– То-то и есть, Аммалат, – она крепко сучает, что не может наглядеться на ненаглядного; говорит: «Неужели он не может приехать хоть на денек, хоть на часок, хоть на минуточку?»

– Взглянуть на нее и потом умереть готов бы я!

– Эй, жить захочется, когда на нее взглянешь! Присмирела она против прежнего, а все еще такой живчик, что взглянет, так кровь заиграет!

– Рассказал ли ты ей, почему нельзя мне выполнить ее воли и своего страстного желания?

– Насказал таких небылиц, что ты бы подумал, будто я стихотворец персидского шаха. Расплакалась Селтанета, словно горный ключ после дождя. Рюмит, да и все тут.

– Зачем же приводить ее в отчаяние! Нельзя теперь – не значит еще: навек невозможно. Знаешь женское сердце, Сафир-Али: конец надежде – для них конец любви!

– Сеешь слова на ветер, *джаным* (душа моя). Надежда у влюбленных – бесконечный клубок. С холодной кровью и глазам не верится, а полюбишь – так и чудесам станешь верить. Я думаю, Селтанета надеялась бы, что ты из гроба прискачешь к ней, не то что из Дербента.

– Чем лучше гроба для меня этот Дербент? Не тем ли, что сердце чувствует нетление и не может избежать его? Здесь один труп мой – душа далеко, далеко!

– Кажется, и ум у тебя нередко изволит гулять невесть где, любезный Аммалат! Чем тебе не житье у Верховского – волен и доволен: любим как брат меньшой, лелеем словно невеста. Пусть так: мила твоя Селтанета – да ведь и Верховских немного. Разве нельзя принести в жертву дружбе хоть частичку любви?

– Разве я этого не делаю, Сафир-Али? Но, если б ты знал, чего мне это стоит: все равно если б я рвал на клочки сердце свое. Дружба – прекрасное дело, но она не заменит любви.

– По крайней мере она может утешить ее, может быть, помочь ей. Говорил ли ты об этом с полковником?

– Никак не решусь. Слова замирают на губах, когда вздумаю завести речь о любви моей. Он так рассудителен, что мне совестно скучать ему своим безумием; он так добр, что я не смею употребить во зло его терпения. Правду молвить, он своею откровенностью вызывает, ободряет мою. Вообрази себе, что он влюблен от самого младенчества в женщину, с которой вырос, и верно бы женился на ней, если б по ошибке его не поставили в списке убитых во время войны с фиренгами. Невеста его поплакала – и, разумеется, ее выдали замуж. Вот он летит на родину – и находит свою милую – женою другого. Что ж бы ты думал, что бы я сделал в таком случае – вонзил кинжал в грудь похитителя сокровища... увез бы ее на край света, чтобы хоть час, хоть миг повладеть ею!.. или хоть в мести насладиться за отнятое счастье! – ничего не бывало. Он узнал, что соперник его предобрый и предостойный человек. Он имел хладнокровие подружиться с ним, имел терпенье быть часто с прежнею невестою и ни словом, ни делом не изменить новому другу со старою подругою!

– Редкий человек, если это не сказка, – молвил Сафир-Али с чувством, бросив повод, – твердый друг!

– Зато какой ледяной любовник! Этого мало. Чтоб избавить от толков обоих супругов, он уехал сюда на службу. Недавно, к счастью ли, к несчастий) ли его, – умер его приятель-соперник... и что-ж? Ты думаешь, он бросился скакать в Россию? Нет, служба удержала его. Главнокомандующий сказал ему несколько слов, уверил, что он необходим здесь еще на год, и он остался, питая любовь свою бумагою. Может ли такой человек, со всей своей добротою, понять страсть мою!.. Притом между нами столько разницы в годах, в понятиях! Он убивает меня своим недоступным достоинством; и все это холодит мою дружбу, вяжет искренность.

– Ты большой чудак, Аммалат: за то не любишь Верховского, что он всех более достоин любви и откровенности!

– Кто сказал тебе, что я не люблю его?.. Мне не любить его, моего воспитателя, моего благодетеля? Да и могу ли кого-нибудь не любить с тех пор, как люблю Селтанету? Я люблю весь свет, всех людей!

– Не помногу же достанется на брата! – сказал Сафир-Али.

– Стало бы ее не только напоить, но утопить весь мир, – возразил, улыбаясь, Аммалат.

– Ага! Вот что значит видеть красавиц без покрывала! – и потом ничего не видеть, кроме покрывал и бровей. Видно тебе, как урмийскому соловью²⁶, надобна для песен клетка.

Так разговаривая, друзья скрылись в чаще леса.

²⁶ Урмийская долина есть сад печальной, каменистой Персии. Весною это царство роз, осенью – винограда.

Глава VII

Отрывок из письма полковника Верховского к его невесте

Дербент. Апрель.

Прилети ко мне, сердце моего сердца, милая Мария! Полюбуйся на прелестную вешнюю ночь Дагестана. Тих лежит подо мною Дербент, подобен черной полосе лавы, упавшей с Кавказа и в море застылой. Ветерок навевает мне благоухание цветущих миндальных деревьев, соловьи перекликаются в ущелье, сзади крепости; все дышит жизнью и любовью, и стыдливая природа, полная сим чувством, как невеста, задержалась дымкой туманов. И как дивно разлилось их море над морем Каспийским! Нижнее колышется, как вороненая кольчуга, верхнее ходит серебряной зыбью, озаренное полною луною, которая катится по небу, словно золотая чаша, и звезды блещут кругом нее, как разбрызганные капли. Каждый миг отражение лучей луны в парах ночи изменяет картины, упреждая самое воображение, то изумляя чудесностию, то поражая новостию. Иногда кажется, будто видишь скалы дикого берега и об них в пену разбитый прибой... Валы катятся в битву, буруны крутятся, всплески летят высоко; но безмолвно, медленно опускается волнение, и серебряные пальмы возникают из лона потопа, ветер движет их стебли, играет их долгими листьями, – и вот они распахнулись парусами корабля, скользящего по воздушному океану! Видишь, как он качается: брызги дождят на грудь его, волны скользят вдоль ребер, и где он?... где сам я?..

Не поверишь, бесценная, какое сладостно-грустное чувство наводит на меня шум и вид моря. С ним неразлучна во мне мысль о вечности, о бесконечности, о любви нашей. Видно, сама она безгранична, как вечность. Чувствую, душа моя будто разливается и объемлет мир, подобно океану, светлыми волнами любви: она во мне и окрест меня, она единственное, великое, бессмертное во мне чувство. Искра его греет и озаряет меня в зиму горестей, в ночи сомнений. Тогда я так беззаветно люблю, так тепло верю и верую!!! Ты улыбаешься моей мечтательности, друг и подруга души моей! Ты изумляешься этому туманному наречию!.. не вини меня. Дух мой, как жилец иного света, не может противостать призывному мерцанию месячного луча... отрясает могильный прах, разыгрывается и, как луч месяца, обрисовывает все предметы тускло, неопределенно. Впрочем, ты знаешь, что к одной тебе пишу я все, что ни вспадет на стекло моего волшебного фонаря-сердца, уверенный, что сердцем, а не привязчивым умом будешь ты разгадывать сказанное. Притом в августе месяце счастливый жених твой будет лично пояснять все темные места в своих письмах. Не могу вздумать без восхищения о минуте встречи нашей!.. Я считаю песчинки часов, разлучающие нас, считаю версты, между нами лежащие. Итак, в половине июня ты будешь на Кавказских водах; итак, лишь одна ледяная цепь Кавказа останется между двумя пылкими сердцами... Как близко и как еще неизмеримо далеко будем мы друг от друга! О, сколько бы лет жизни отдал я, чтобы приблизить час свидания! Души наши обручены так давно... для чего ж разлучены доселе?..

.....

Аммалат мой скрытен и недоверчив. Я не виню его. Я знаю, как трудно переломить привычки, всосанные с матерним молоком и с воздухом родины. Варварский деспотизм Персии, столь долго владевший Азербиджаном, воспитал в кавказских татарах самые низкие страсти, ввел в честь самые презрительные происки. Да и могло ли быть иначе в правлении, основанном на размене крупного деспотизма на мелкий, где и самая справедливость суда поражает украдкою, где хищение-есть преимущество власти?... Делай со мною, что хочешь, но позволь мне делать с нижними, что я хочу, – вот азиатское управление, честолюбие и нравственность. От этого каждый, находясь между двумя врагами, привыкал прятать свои мысли, как свои деньги.

От этого каждый старался лукавить перед сильным, чтобы добыть через него силу, и перед богатым, чтобы выжать из него взятку угнетением или доносом. От этого здешний татарин не скажет слова, не ступит шага даром, не подарит огурца без надежды получить за него отдарка. Грубый до дерзости с каждым, кто не облечен властью, он плашмя перед чином, перед полным карманом. Горстями сыплет лесть, отдает вам дом, детей, душу свою, для того чтобы словами уклонить от себя дело, и если делает услугу, то верно по расчету. В делах денежных (это самая слабая сторона татар) червонец есть камень преткновения; трудно вообразить, до какой степени падки они до выгод. Армяне тысячу раз ниже их в характере, но едва ли они уступят им в продажности, в корыстолюбии... *et c'est tout dire*²⁷.

Мудрено ли же, что, с младенчества видя такие примеры, Аммалат хотя и сохранил в себе свойственное благородной крови отвращение ко всему низкому, но принял скрытность как необходимое оборонительное оружие противу явных злодеев своих и тайных недоброхотов? Священные узы родства почти не существуют для азиатца. У них сын – раб своего отца, брат – его соперник. Нет доверия к ближнему, потому что нет верности ни в ком. Ревность к женам и подозрение в подысках задушают братство и дружество. Ребенок, воспитанный матерью-невольницею, не знающий ласки отца и потом задушенный арабскою грамотою, скрывается в самом себе даже и от товарищей; с первых ногтей заботится только о себе. С первым пухом на бороде для него закрыты все двери и все сердца, – мужья смотрят на него искоса, женщины бегут, как от зверя, и первые, самые невинные движения его сердца, первый голос человечества, первое стремление природы суть уже преступления перед изуверским магометанством. Он не смеет открыть их родному, доверить приятелю... он должен даже плакать тайно от других.

Все это говорю я, милая Мария, в извинение Аммалату: полтора года живет он у меня и до сих пор не открылся мне, кого любит, хотя очень мог видеть, что не из пустого любопытства, а из душевного участия хотел я вызнать тайны его сердца. Наконец он рассказал мне все, и вот как это случилось.

Вчера я выехал с Аммалатом прогуляться за город. Мы поднялись по ущелию в гору, на запад; далее и далее, выше и выше, мы незаметно очутились подле деревни Кемек, рядом с которою видна уже стена, защищавшая некогда Персию от набегов кочевых народов закавказских степей, часто громивших ее границы. Дербентская летопись (Дербент-наме) приписывает, но неверно, ее незапамятную постройку какому-то Исфендиару; вот начало молвы, передавшей сей труд Искендару, то есть Александру Великому, никогда в этих краях не бывавшему. Царь Нуширван открыл, возобновил ее, поселил при ней стражу. Не раз впоследствии была она поправляема и снова падала в прах, зарастала, как теперь, вековыми деревьями. Осталось поверье, будто стена эта от Каспия шла до Черного моря²⁸, пересекая весь Кавказ, имея крайними *железными воротами* Дербент, а средними Дарьял; но это более чем сомнительно вообще, хотя несомненно в частном. Следы ее, видимые далеко в горах, прерываются только обрывами и ущелиями до военной дороги, но оттуда к Черному морю, кажется по Мингрелии, нет никаких признаков продолжения.

Я с любопытством рассматривал эту огромную стену, укрепленную частыми башнями, дивясь величию древних, даже в самых безумных прихотях деспотизма, величию, до которого

²⁷ и этим все сказано (*фр.*).

²⁸ Я убежден, что Кавказские ворота древних, Железные ворота русских историков, находились не в Дербенте, а в Дарьяле (Дар-юл – *узкая дорога, теснина*). Что восточные историки называли иногда Дербент Темир-капи, это не доказательство: они и двадцать других городов величали тем же именем; а ныне, вопреки рассказам иных вторящих одно и то же путешественников, в целой Азии никто не знает Дербента под названием Железных ворот. Плиний описывает Дарьял очень подробно. Прокоп называет оный Каспийскими воротами, но, видимо, разумеет Дарьял, а не Дербент. И, наконец, хан половецкий, разбитый Мопомахом, ушел в абазинскую землю за Железные ворота, следственно за Дарьял, а не Дербент, ибо через сей последний нет средства пробраться в Абхазию. Грузинские летописи приписывают построение Дарьяльского замка Мирвану, царю своему; Прокоп отдает эту честь Александру, сыну Филиппа!!!

достигнуть не дерзают и мысляю, не только исполнением, нынешние женоподобные властители Востока. Чудеса Вавилона, Меридово озеро, пирамиды фараонов, бесконечная ограда Китая – и эта стена, проведенная в местах диких, безлюдных, по высям хребтов, по безднам ущелий, – свидетели железной, исполинской воли и необъятной власти прежних царей. Ни время, ни землетрясения не могли совершенно разрушить трудов тленного человека, и пята тысячелетий не совсем раздавила, не совсем втоптала в землю остатки древности незапамятной. Места эти возбуждали во мне еще благоговейные думы... Я бродил по следам великого Петра... я воображал его, основателя, преобразователя юного царства, на сих развалинах дряхлеющих царств Азии, из среды коих вырвал он Русь и мочной десницею вкатил в Европу. Какой огонь сверкал тогда в орлином взоре его, брошенном с выси Кавказа! Какие гениальные думы звездилась в уме; какие святыя чувства вздымали геройскую грудь. Великая судьба отечества развивалась перед его очами, вместе с горизонтом; в зеркале Каспия зрелась ему картина будущего благоденствия России, им посеянного, окропленного кровавым его потом. Не пустые завоевания, но победа над варварством, но благо человечества были его целию. Дербент, Бака, Астрабат – вот звенья цепи, которою хотел он опутать Кавказ и связать торговлю Индии с русскою. Полубог Севера! Ты, которого создала природа, чтобы польстить гордости человека и привести в отчаяние недоступным величием, – твоя тень возникла передо мной, огромна и лучезарна, и водопад веков, казалось, рассыпался в пену у твоих стоп!²⁹ Задумчив и безмолвен ехал я далее.

Кавказская стена одета с севера тесаными плитами, чисто и крепко на извести сложенными. Многие зубцы еще целы, но слабые семена, запавшие в трещины, в спаи, раздирают камни корнями деревьев, из них произросших, и в союзе с дождями низвергают долу громады, и по развалинам всходят, будто на приступ, раины, дубы, гранаты. Орел невозмутимо вьет гнездо в башне, когда-то полной воинами, и на очаге, внутри ее, холодном уже несколько веков, лежат свежие кости диких коз, натасканные туда чакалами. Инде исчезал вовсе след развалин, и потом отрывки стены возникали снова из-под травы и леса. Так, проехав версты три вдоль, достигли мы до ворот и проехали на южную сторону сквозь свод, подернутый мохом и заросший кустарником. Не успели мы сделать двадцать шагов, как вдруг, за огромною и высокою башнею, наткнулись на шестерых вооруженных горцев, по всем приметам принадлежащих к разбойничьим шайкам вольных табасаранцев. Они лежали в тени, близ пасущихся коней своих. Я обомлел. Я тогда только раздумал, как безрассудно поступил, заехав так далеко от Дербента без конвоя. Скакать назад было невозможно по кустам и камням; драться с шестерыми удалцами было бы отчаянно; со всем тем я схватился за седельный пистолет; но Аммалат-бек, увидев дело, опередил меня, сказав тихо: «Не беритесь за оружие, или мы погибли».

Разбойники, заметив нас, вскочили и выправили ружья; только один широкоплечий, видный, с самым зверским лицом лезгин остался лежащим на земле: он хладнокровно приподнял голову, посмотрел на нас и махнул своим рукою. В одну минуту мы очутились в кругу их, между тем как узкая тропа вперед заграждена осталась атаманом.

– Прошу долой с коней, милые гости, – произнес он, улыбаясь; но видно было, что вторым приглашением будет пуля. Я мешкал, но Аммалат-бек проворно соскочил с коня и прямо пошел к атаману.

– Здорово, – сказал он ему, – здорово, сорвиголова; не чаял я тебя видеть; я думал, из тебя уж давно черти лапшу сделали.

– Скоро едешь, Аммалат-бек, – отвечал тот. – Я надеюсь еще выкормить здешних орлов телами русских и вашей братии татар, у которых киса больше, чем сердце.

– Ну что, какова ловля, Шемардан? – спросил небрежно Аммалат-бек.

²⁹ Татары с уважением вспоминают Петра. Угловая комната, в которой жил он в ханском доме в крепости Дербента, сохранялась как она была при нем. Русские все переделали: не пощадили даже окна, из которого любовался он морем. Петр оставил здесь майора Туркула, родом венгерца, который усовершенствовал виноделие, – теперь нет в Дербенте даже порядочного уксусу!

– Было плохо. Русские сторожки, и разве с лезвия случалось угнать полковой табун или продать в горы человек двух солдат. С мареной и шелком громоздко возиться, а персидских тканей стали мало возить на арбах. Приходилось и сегодня порыскать и повить даром по-волчьи, да, спасибо, Аллах смилостивился: в руки дал богатого бека и русского полковника!

У меня замерло сердце, когда я услышал эти слова.

– Не продавай сокола в небе, – возразил Аммалат, – продавай, когда посадишь его на перчатку.

Разбойник сел, схватился за курок ружья и устремил на нас проницательные взоры.

– Послушай, Аммалат, – сказал он, – неужели вы думаете убежать от меня, неужели дерзнете защищаться?

– Будь покоен, – возразил Аммалат. – Что мы за глупцы – идти двум на шестерых? Любо нам золото, однако душа дороже. Попались, так нечего делать: лишь бы ты не заломил беспутной цены за выкуп. У меня, сам ты знаешь, ни отца ни матери, а у полковника и подавно ни роду ни племени.

– Нет отца, так есть наследство от отца. Ведь мне с тобою не роднёю считаться. Впрочем, я человек совестливый – нет червонцев – так я возьму и баранами; а про полковника ты не пой мне песен: я знаю, что за него отдадут все солдаты последнюю пуговицу с мундира. Уж коли за Швецова дали выкупу десять тысяч рублевиков, за этого дадут и больше. Впрочем, увидим, увидим! Коли будете смиренны, я ведь не *джеуд* (жид) какой, не людоед, *Первиадер* (Всевышний) прости!

– Ну, то-то же, приятель: корми да пои нас хорошенько, так присягу даю и честью моей заверяю, мы не задумаем ни бить тебя, ни бежать от тебя.

– Верю, верю! Люблю, что без шума дело сладили. Какой ты молодец стал, Аммалат: конь не конь, ружье не ружье – загляденье, да и только! Покажи-ка, друг, кинжал свой? Верно, кубачинская насечка на ножнах?

– Нет, кизлярская, – отвечал Аммалат, покойно растягивая поясок кинжала. – Да клинок-то посмотри: диво! Гвоздь пополам, словно свечку... на этой стороне имя мастера; на, хоть сам читай: *Али-уста Казаницкий* И между тем он повертывал обнаженным клинком перед глазами жадного лезгина, который хотел показать, что знает грамоте, и со вниманием разбирал связную надпись...

Но вдруг кинжал сверкнул как молния: Аммалат, улуча миг, рубнул Шемардана по голове со всего размаху, и удар был столь жесток, что кинжал остановился в зубах нижней челюсти. Труп рухнул на траву. Не сводя глаз с Аммалата, я последовал его примеру и положил из пистолета ближнего ко мне разбойника, державшего за узду моего коня. Это было знаком к бегству остальных бездельников, как будто со смертью атамана расторгся узел своры, на которую были они привязаны.

Между тем как Аммалат, по азиатскому обычаю, снимал с убитых оружие и связывал вместе поводья оставленных коней, я выговаривал ему за его притворство и клятвы перед разбойником. Он с удивлением поднял голову:

– Чудный вы человек, полковник, – возразил он мне. – Этот злодей наделал исподтишка русским тьму вреда, то пожигая стоги сена, то уводя в плен одиноких солдат-дровосеков! Знаете ли, что он бы замучил, истиранил нас, для того чтобы мы пожалобнее писали к своим и тем более дали выкуп.

– Все это так, Аммалат, – сказал я, – но лгать, но клясться не должно ни в шутке, ни в беде. Разве не могли мы прямо кинуться на разбойников и начать тем, чем кончили?

– Нет, полковник, не могли. Если б я не заговорил атамана, нас бы при первом движении пронзили пулями; притом я знаю эту сволочь весьма хорошо – они храбры только в глазах атамана, и с него надобно было начать расправу.

Я качал головою. Азиатское коварство хотя и спасло меня, но не могло мне понравиться. Какую веру могу я иметь к людям, привыкшим играть честью и душою!

Мы собрались было садиться на коней, когда услышали стон раненного мною горца. Он очнулся, приподнялся и жалобно умолял нас не покидать его на съедение зверям лесным. Мы оба кинулись помогать несчастному, и каково было удивление Аммалата, когда он узнал в нем одного из нукеров Султан-Ахмет-хана Аварского. На вопрос, как он попал в шайку разбойников, отвечал:

– Шайтан соблазнил меня. Хан послал меня в соседнюю деревню Кемек, с письмом к славному *гакиму* (доктору) Ибрагиму, за какой-то травой, что, говорят, всякую болезнь как рукой снимает... на беду повстречал меня на дороге Шемардан; пристал: поедем да поедем со мной наездничать, из Кубы едет армянин с деньгами. Не утерпело мое сердце молодецкое... Ох, Алла, гиль Алла! Вынул он из меня душу!

– Тебя послали за лекарством, говоришь ты, – спросил Аммалат. – Да кто же у вас болен?

– Наша ханум Селтанета при смерти; вот и писанье к лекарю про болезнь ее. – При этом слове он отдал Аммалату серебряную трубочку, в которую вложена была свитая бумажка.

Аммалат побледнел как смерть, – руки его дрожали, очи скрылись под бровями, когда пробежал он записку... прерывающимся голосом повторял он несвязные слова:

– «Не ест, не спит уже три ночи... бредит! жизнь ее в опасности... спасите!» Боже правды! а я здесь веселюсь, праздничая, в то время как душа души моей готова покинуть землю и оставить меня тлеющим трупом. О, да падут на голову мою все ее болезни³⁰, да лягу я в гроб, если этим искупится ее здоровье! Милая, прелестная девушка – ты вянешь, роза Аварии, – и на тебя простерла судьба свои железные когти! Полковник! – вскричал он наконец, схватив меня за руку, – исполните мою единственную, священную просьбу, позвольте мне хоть еще однажды взглянуть на нее...

– На кого, друг мой?

– На мою бесценную Селтанету, на дочь хана Аварского, которую люблю более, чем жизнь, чем душу свою... Она больна, она умирает, может быть, уже умерла теперь, когда я теряю слова даром! И не я принял в сердце последний взор, последний вздох ее, не я отер ледяную слезу кончины. О, зачем угли разрушенного солнца не падут на мою голову, зачем не погребет меня земля в своих развалинах!

Он упал на грудь мою и, задушенный тоскою, рыдал без слез, не могши промолвить слова.

Не время было упрекать его в недоверчивости, еще менее – представлять причины, по которым ему бы неприлично было ехать ко врагу русских. Есть обстоятельства, пред которыми рассыпаются в прах все приличия, и я чувствовал, что Аммалат находился в подобных. На свой страх решился я отпустить его. Кто обязывает от чистого сердца и скоро, тот обязывает дважды, – моя любимая пословица и твердое правило. Я сжал в объятиях тоскующего татарина, и слезы наши смешались.

– Друг Аммалат... – сказал я, – спеши, куда зовет тебя сердце. Дай Бог, чтобы ты привез туда выздоровление, а оттуда покой душевный... Счастливый путь!

– Прощайте, благодетель мой! – произнес он, тронутый, – и, может быть, навек. Я не ворочусь к жизни, если Алла отнимет у меня Селтанету. Бог да хранит вас!

Мы завезли раненого аварца к гакому Ибрагиму, взяли у него по рецепту ханскому травы целительной – и через час Аммалат-бек с четырьмя нукерами выехал уже из Дербента.

Итак, загадка разгадалась: он любит. Это плохо, а еще того хуже, что он любим взаимно. Я вижу, милая, я слышу твое изумление. «Может ли то быть несчастьем для другого, чего ждешь ты для себя как благополучия?..» – спрашиваешь ты... Одно зернышко терпения, ангел души моей! Хан, отец Селтанеты, – непримиримый враг России, тем более что, будучи взыскан

³⁰ Это самое нежное выражение татарских песен и самый обязательный привет женщине.

царскими милостями, он изменил оным; след<ственно>, брак возможен только в таком случае, если Аммалат изменит русским или хан смирится перед ними и будет прощен: обе вещи малосбыточные. Я сам испытал горе безнадежное в любви; я много пролил слез на уединенное изголовье мое и сколько раз жаждал могильной тени, чтобы простудить в ней бедное сердце! Могу ли же не жалеть юноши, которого люблю бескорыстно, который любит безнадежно? Но это не наместит мосту к счастью, и потому думаю, что, если б он не имел несчастья быть любимым взаимно, он бы понемногу забыл ее.

«Однако, – говоришь ты (и, мне кажется, я слышу твой серебристый голос, люблюсь твоей ангельскою улыбкою), – однако обстоятельства могут перемениться для них, как они переменились для нас. Неужели одно несчастье имеет привилегию быть вечным на свете?..» Не спорю, милая, но со вздохом признаюсь: сомневаюсь... даже боюсь и за них и за нас. Судьба улыбается нам, надежда поет сладкие песни, но судьба – море, надежда – сирена морская: опасна тишина первого, гибельны обеты второй. Все, кажется, споспешествует нашему соединению – но вместе ли мы? Не понимаю, отчего, милая Мария, холод вникает в грудь мою вместе с самыми жаркими мечтами о будущем блаженстве – и мысль о свидании потеряла свою определенность! Но это все минет, все обратится в наслаждение, когда я прижму твою ручку к устам своим, твое сердце к своему сердцу!! Ярче сверкает радуга на черном поле туч – и самые счастливейшие мгновения суть междометия горести.

Глава VIII

Аммалат загнал двух коней и бросил на дороге нукеров своих; зато к концу другого дня был уже невдалеке от Хунзаха. С каждым шагом росло его нетерпение, и с каждым мигом увеличивался страх не застать в живых свою милую. Он затрепетал, когда показались ему из утесов верхи башен ханского дома... в глазах померкло. «Жизнь или смерть встречу я там?» – молвил он в самом себе – и, скрепя сердце, удвоил бег коня.

Он настиг всадника, вооруженного с головы до ног; другой всадник ехал из Хунзаха ему навстречу – и едва завидели и разглядели они друг друга, пустили коней вскачь, съехались, соскочили на землю и вдруг, обнажив сабли, с ожесточением кинулись друг на друга, не вымолвя ни одного слова, – как будто бы удары были обычным дорожным приветствием. Аммалат-бек, которому они заградили узкую тропинку между скал, с изумлением смотрел на бой двух противников... он был короток. Попутный всадник упал на камни, обливая их кровью из разверстого черепа; победитель, хладнокровно отирая полосу, обратил слово к Аммалату:

– Кстати приход твой! Я рад, что судьба привела тебя в свидетели нашего поединка. Бог, а не я, убил обидчика, и теперь родные его не скажут, что я умертвил врага украдкой из-за камня, не подымут на мою голову мести крови.

– За что встала ссора у тебя с ним? – спросил Аммалат. – За что заключил ты ее такой ужасною местию?

– Этот харам-зада, – отвечал всадник, – не поладил со мной за подел грабленых баранов, в досаде мы всех их перерезали... не доставайся же никому – и он дерзнул выбрать жену мою... Пускай бы он лучше опозорил гроб отца и доброе имя матери, нежели тронул славу жены... Я было кинулся на него с кинжалом, да нас розняли; мы стакнулись при первой встрече рубиться – и вот Аллах рассудил нас. Бек, верно, едет в Хунзах, верно, в гости к хану? – примолвил всадник.

Аммалат, заставляя своего коня перепрыгнуть через труп, лежащий поперек дороги, отвечал утвердительно.

– Не в пору едешь, бек, очень не в пору!

Вся кровь кинулась в голову Аммалата.

– Разве в доме хана случилось какое несчастье? – спросил он, удерживая коня, которого за миг прежде ударил плетью, чтобы скорей домчаться до Хунзаха.

– Не то чтобы несчастье; у него крепко была больна дочь Селтанета, и теперь...

– Умерла? – вскричал Аммалат, бледнея.

– Может быть, и умерла; по крайней мере умирает. Когда я проезжал мимо ханских ворот, на дворе поднялась такая беготня и плач и вой женщин, будто русские берут Хунзах приступом... Заезжай, сделай милость...

Но Аммалат уже не слышал ничего более – он стремглав ускакал от удивленного узденя... только пыль катилась дымом с дороги, словно зажженной искрами, сыплющимися из-под копыт. Быстро прогремел он по извилистым улицам, влетел на гору, спрыгнул с коня среди двора ханского и, задыхаясь, пробежал по переходам до комнаты Селтанеты, опрокидывая, расталкивая нукеров и прислужниц, и наконец, не приметив ни хана, ни жены его, прорвался до самого ложа больной и почти без памяти упал при нем на колени.

Внезапный, шумный приход Аммалата возмутил печальное общество присутствующих. Селтанета, в которой кончина пересиливала уже бытие, будто проснулась из томительного забытья горячки... щеки ее горели обманчивым румянцем, как осенний лист перед паденьем; в туманных глазах догорали последние искры души; уже несколько часов была она в совершенном изнеможении, безгласна, неподвижна, отчаянна. Ропот неудовольствия в окружающих

и громкие восклицания иступленного Аммалата, казалось, воротили отлетающий дух больной... она вспрянула... глаза ее заблестали...

– Ты ли это, ты ли?! – вскричала она, простирая к нему руки. – Аллах бережет!.. Теперь я довольна! Я счастлива, – промолвила она, опускаясь на подушки... улыбка сомкнула уста ее, ресницы упали – и она снова погрузилась в прежнее беспамятство.

Отчаянный Аммалат не внимал ни вопросам хана, ни выговорам ханши; никто, ничто не отвлекало его внимания от Селтанеты, не исторгало из скорби глубокой. Его насилу могли вывести из комнаты больной. Прильнув к ее порогу, он рыдал неутешно, то умоляя небо спасти Селтанету, то обвиняя, укоряя его в ее болезни. Трогательна и страшна была тоска пылкого азиатца.

Между тем появление Аммалата произвело на больную спасительное влияние. То, чего не могли или не умели сделать горные врачи, произошло от случая. Надобно было пробудить онемевшую жизненную деятельность сильным колебанием, – без этого она погибла бы, не от болезни, уже затихшей, но от изнеможения, как лампа, гаснущая не от ветра, но от недостатка воздуха. Наконец молодость взяла верх; после перелома жизнь опять разыгралась в сердце умиравшей. После долгого, кроткого сна она пробудилась с обыкновенными силами, с свежими чувствами.

– Мне так легко, матушка, – сказала она ханше, весело озираясь, – будто я вся из воздуха. Ах, как сладостно отдохнуть от болезни, – кажется, и стены мне улыбаются. Да, я была очень больна, долго больна; я много вытерпела... теперь, слава Аллаху, я только слаба, и это пройдет скоро... я чувствую, что здоровье, как жемчуг, катится у меня по жилам. Все прошлое представляется мне в каком-то мутном сне. Мне виделось, будто я погружаюсь в холодное море, а сгораю жаждою... вдали носились, будто во мраке и в тумане, две звездочки – тьма густела и густела; я погрязала ниже и ниже. И вдруг показалось мне, что кто-то назвал меня по имени и могучею рукою выдернул из леденеющего безбрежного моря... лицо Аммалата мелькнуло передо мной, словно наяву, – звездочки вспыхнули молнией, и она змеей ударила мне в сердце; больше не помню!

На другой день Аммалату позволили видеть выздоравливающую. Султан-Ахмет-хан, видя, что от него не добиться путного ответа, покуда сомнение не стихнет в душе, кипучей страстью, склонился на его неотступные просьбы.

– Пускай все радуются, когда я радуюсь, – сказал он и ввел гостя в комнату дочери.

Селтанету предупредили – но со всем тем волнение в ней было чрезвычайно, когда очи ее встретились с очами Аммалата, столь много любимого, столь долго и напрасно ожидаемого. Оба любовника не могли вымолвить слова, но пламенная речь взоров изъяснила длинную повесть, начертанную жгучими письменами на скрижалях сердца. На бледных щеках друг друга прочитали они следы тяжких дум и слез разлуки, следы бессонницы и кручины, страхов и ревности. Пленительна цветущая краса любимой женщины; но ее бледность, ее болезненная томность – очаровательны, восхитительны, победны! Какое чугунное сердце не растает от полного слез взора ее, который без упрека, нежно говорит вам: «Я счастлива... я страдала от тебя и для тебя!»

Слезы брызнули из глаз Аммалата, но, вспомнив наконец, что он тут не один, он оправился, поднял голову – но голос отказывался вылиться словом, и он насилу мог сказать:

– Мы очень давно не видались, Селтанета!

– И едва не расстались навечно, – отвечала Селтанета.

– Навечно? – произнес Аммалат полу укорительным голосом. – И ты могла думать это, верить этому? Разве нет иной жизни? жизни в которой не ведомо горе, ни разлука с родными и с милыми? Если бы я потерял талисман своего счастья, с каким бы презрением сбросил я с себя ржавые, тяжкие латы бытия! для чего бы мне тогда сражаться с роком?

– Жаль, что я не умерла, коли так, – возразила Селтанета шутя, – ты так заманчиво описываешь замогильную сторону, что хочется поскорее перепрыгнуть в нее.

– О нет, живи, живи долго, для счастья, для... *любви*, – хотел при молвить Аммалат, но покраснел и умолкнул.

Мало-помалу розы здоровья опять раскинулись на щеках довольной присутствием милого девушки. Все опять пошло обычной чередой. Хан не успевал расспрашивать Аммалата про битвы и походы и устройство войск русских; ханша скучала ему спорами о платьях и обычаях женщин их... и не могла пропустить без воззвания к Аллаху ни одного раза, слыша, что они ходят без туманов. Зато с Селтанетой находил он разговоры и рассказы прямо по сердцу. Малейшая безделка, друг до друга касающаяся, не была опущена без подробного описания, повторения и восклицания. Любовь, как Мидас, претворяет все, до чего ни коснется, в золото и ах! часто гибнет, как Мидас, не находя ничего вещественного для пищи.

Но с крепнущими силами, с расцветающим здоровьем Селтанеты на чело Аммалата чаще и чаще стали набегать тени печали. Иногда вдруг среди оживленного разговора он останавливался незапно, склонял голову, и прекрасные глаза его подергивались слезною пеленою, и тяжкие вздохи, казалось, расторгали грудь; но вдруг он вскакивал... очи сверкали гневом, он с злобной улыбкою хватался за рукоять кинжала... и после того, будто пораженный невидимою рукою, впадал в глубокую задумчивость, из которой не могли извлечь его даже ласки обожанной Селтанеты.

Однажды в такую минуту любовники были глаз на глаз. С участием склонясь на его плечо, Селтанета молвила:

– *Аз из* (милый), ты грустишь, ты скучаешь со мной!

– Ах, не клевети на того, кто любит тебя более неба, – отвечал Аммалат, – но я испытал ад разлуки и могу ли без тоски вздумать о ней. Легче, во сто раз легче мне расстаться с жизнью, чем с тобою, черноокая!

– Ты думаешь об этом, – стало быть, желаешь этого...

– Не отравляй моей раны сомнением, Селтанета. До сих пор ты знала только цвести, подобно розе, порхать, подобно бабочке; до сих пор твоя воля была единственною твоею обязанностью. Но я мужчина, я друг; судьба сковала на меня цепь неразрешимую, цепь благодарности за добро... она влечет меня к Дербенту.

– Долг! обязанность! благодарность! – произнесла Селтанета, печально качая головою. – Сколько золотошвейных слов изобрел ты, чтобы ими, как шалью, прикрыть свою неохоту остаться здесь. Разве не прежде ты отдал душу свою любви, нежели дружбе?.. Ты не имел права отдавать чужое! О, забудь своего Верховского, забудь русских друзей и дербентских красавиц!.. Забудь войну и славу, добытую убийствами. Я ненавижу с тех пор кровь, как увидела тебя, ею облитого. Не могу без содрогания вздумать, что каждая капля ее стоит неосушенных слез сестре, или матери, или милой невесте. Чего недостает тебе, чтобы жить мирно, покойно в горах наших? Сюда никто не придет возмутить оружием счастья душевного. Кровля наша не каплет, плов у нас некупленного пшена; у отца моего много коней и оружия, много казны драгоценной – у меня в душе много любви к тебе. Не правда ли, милый, ты не едешь, ты остаешься с нами?

– Нет, Селтанета, я не могу, я не должен здесь остаться! С тобою одной провести жизнь, для тебя кончить ее – вот моя первая мольба, мое последнее желание; но исполнение обоих зависит от отца твоего. Священный союз связывает меня с русскими, и, покуда хан не примирится с ними, явный брак с тобою мне невозможен... и не от русских, но от хана...

– Ты знаешь отца моего, – грустно сказала Селтанета, – с некоторого времени ненависть к неверным усилилась в нем до того, что он не пожалеет принести ей в жертву и дочь и друга. Особенно он сердит на полковника за то, что убил его любимого нукера, посланного за лекарством к гакому Ибрагиму.

– Я уже не раз заводил речь с Ахмет-ханом о моих надеждах – и всегдашним ответом его было: поклянись быть врагом русских – и тогда я выслушаю тебя!

– Стало быть, надобно сказать «прости» надежде?

– Зачем же надежде, Селтанета! Зачем не сказать только «прости, Авария!»

Селтанета устремила на него свои выразительные очи.

– Я не понимаю тебя, – произнесла она.

– Полюби меня выше всего на свете: выше отца и матери и милой родины – и тогда ты поймешь меня. Селтанета! жить без тебя я не могу, а жить с тобою не дают мне... Если тылюбишь меня, бежим отсюда!..

– Бежать! Дочери ханской бежать, как пленнице, как преступнице!.., это ужасно... это неслыханно!

– Не говори мне этого... Если необыкновенна жертва, то необыкновенна и любовь моя. Вели мне отдать тысячу раз жизнь свою, и я кину ее с усмешкою, будто медную пулу³¹; брошу в ад душу свою за тебя, не только жизнь. Ты напоминаешь мне, что ты дочь хана, – вспомни, что и мой дед носил, что мой дядя носит корону шамхальскую!.. Но не по этому сану, а по этому сердцу я чувствую, что достоин тебя; и если есть позор быть счастливым вопреки злобы людей и прихотей рока, то он весь падет на мою, не на твою голову.

– Но ты забыл месть отца моего.

– Придет пора, и он сам забудет ее. Видя, что дело свершено, он отбросит неумолимость. Сердце его не камень – да если б было и камень, то слезы повинные пробьют его, наши ласки его тронут!.. Счастье приглубит тогда нас крылами, и мы с гордостью скажем: «Мы сами поймали его».

– Милый мой – я мало живу на свете, а что-то в сердце говорит, что неправдой не изловить счастья!.. Подождем, посмотрим, что Аллах даст. Может, и без этого средства совершится союз наш.

– Селтанета! Аллах дал мне эту мысль... вот его воля!.. Умоляю тебя: сжался надо мною!.. Бежим, если ты не хочешь, чтобы час брака пробил над моею могилою. Я дал честное слово возвратиться в Дербент и должен сдержать его, сдержать скоро... но уехать без надежды увидеть тебя и с опасением узнать тебя женою другого! – это ужасно, это нестерпимо!! Не из любви, так из сожаления раздели судьбу мою... не лишай меня рая... не доводи меня до безумства... Ты не знаешь, до какой степени может увлечь обманутая страсть... я могу забыть и гостеприимство и родство... разорвать все связи человеческие, попать ногами святыню, смешать кровь мою с драгоценною мне кровью... заставить злодеев содрогаться от ужаса при моем имени и ангелов плакать от моих-дел... Селтанета! спаси меня от чужих проклятий, от своего презрения... спаси меня от самого меня!.. Нукеры мои бесстрашны, кони – ветер... ночь темна: бежим в благодатную Россию, куда перейдет гроза. В последний раз умоляю тебя: жизнь и смерть, слава и душа моя в одном слове твоём: да или нет?

Обуреваемая то страхом девическим и уважением к обычаям предков, то любовью и красноречием любовника, неопытная Селтанета, как легкая пробка, летала по мятежным бурнам противоположных страстей. Наконец она встала, с гордым, решительным видом отерла слезы, сверкавшие на ресницах, как янтарная смола на иглах лиственницы, и сказала:

– Аммалат! не обольщай меня: огонь любви не ослепит, дым ее не задушит во мне совести; я всегда буду знать, что хорошо и что худо, – и очень ведаю, как стыдно, как неблагодарно покинуть дом отеческий, огорчить любимых, любящих меня родителей, – знаю, – и теперь измерь же цену моей жертвы: я бегу с тобою... я твоя! Не язык твой убедил, а сердце твое

³¹ Пул – вообще *деньги*. Карапул – наша *денежка*, или *полушка* (которая произошла вовсе не от *пол-ушка*, а от татарского пул). Да и слово *рубль* происходит, по мнению моему, не от *рубки*, а от арабского слова руп (*четверть*) и перешло к нам от кочевых азиатцев древности. Ногаг значит *точка*.

победило меня. Аллах судил мне встретить и полюбить тебя, – пусть же будут связаны сердца наши вечно и крепко, хотя бы терновым венком! Теперь все кончено: твоя судьба – моя судьба!

Если бы небо обняло Аммалата необъятными своими крыльями, прижав к сердцу мира – солнцу, – и тогда бы восторг его был не сильнее, как в эту божественную минуту. Он излился в нестройных словах и восклицаниях благодарности. Когда стихли первые порывы, любовники условились во всех подробностях побега. Селтанета согласилась спуститься на простынях из спальни своей на крутой берег Узени. Аммалат выедет вечером из Хунзаха со своими нукерами, будто на дальнюю соколиную охоту, и окольными путями воротится к ханскому дому, когда ночь падет на землю; он на руки свои примет милую спутницу. Потом они тихомолком доберутся до коней – и тогда враги прочь с дороги.

Поцелуй запечатлел обеты – и счастливы расстались со страхом и надеждою в сердцах.

Аммалат-бек, изготова к побегу и бою удалых нукеров своих, с нетерпением смотрел на солнце, которое, будто ревнуя, не хотело сойти с теплого неба в холодные кавказские ледники. Как жених, жаждал он ночи, и, как докучного гостя, провожал он глазами светило дня. Сколь медленно шло, ползло оно к закату... еще целый век пути оставался между желаньем и счастьем!

Безрассудный юноша! Что порука тебе за удачу? Кто уверит тебя, что твои шаги не сочтены, твои слова не пойманы на лету?... Может быть, с солнцем, которое ты бранишь, закатится твоя надежда!!

Часу в четвертом за полдень, в обычное время мусульманского обеда, Султан-Ахмет-хан был обыкновенно дик и мрачен. Глаза его недоверчиво блистали из-под нахмуренных бровей – долго останавливал он их то на дочери, то на молодом госте своем; иногда черты лица его принимали насмешливое выражение, но оно исчезало в румянце гнева; вопросы его были колки, разговор отрывист – и все это пробуждало в душе Селта-неты раскаяние, в сердце Аммалата опасенье. Зато ханша-мать, словно предчувствуя разлуку с милой дочерью, была так ласкова и предупредительна, что эта незаслуженная нежность исторгала слезы у доброй Селтанеты – и взор, брошенный украдкой Аммалату, был ему пронзительным укором.

Едва совершили после обеда обычное умовенье рук, хан вызвал на широкий двор Аммалата: там ждали их оседланные кони и толпа нукеров сидела уже верхом.

– Поедем попытать удали новых моих соколов, – сказал хан Аммалату, – вечер славный, зной опал, и мы успеем еще до сумерек заполевать птичку-другую!

С соколом на руке безмолвно ехал хан рядом с беком: влево, по крутой скале, лепился аварец, забрасывая железные когти, на шесте прикрепленные, в трещины, и потом, на гвозде опершись, подымался выше и выше. На поясе у него привязана была шапка с семенами пшеницы; длинная винтовка висела за плечами... Хан остановился, указал на него Аммалату и значительно сказал:

– Посмотри на этого старика, Аммалат-бек. Он в опасности жизни ищет стопы земли на голом утесе, чтобы посеять на ней горсть пшеницы. С кровавым потом он жнет ее и часто кровью своею платит за охран стада от людей и зверей. Бедна его родина; но спроси, за что любит он эту родину, зачем не променяет ее на ваши тучные нивы, на ваши роскошные паствы? Он скажет: «Здесь я делаю что хочу, здесь я никому не кланяюсь; эти снега, эти гольцы берегут мою волю...» И эту-то волю хотят отнять у него русские, как отняли у вас... и этим-то русским стал ты рабом, Аммалат!

– Хан! ты знаешь, что не русская храбрость, а русское великодушие победило меня: не раб я, а товарищ их.

– Тем во сто раз хуже и постыднее для тебя! Наследник шамхалов ищет серебряного темляка! хвалится тем, что он за стольник полковника!

– Умерь слова свои, Султан-Ахмет! Верховскому обязан я более чем жизнию, – союз дружбы связал нас!

– Может ли существовать какая-нибудь священная связь с гяурами? Вредить им, истреблять их, когда можно, обманывать, когда нельзя, суть заповеди Корана и долг всякого правоверного!

– Хан! перестанем играть костями Магомета и грозить тем другому, чему сами не верим. Ты не мулла, я не факир: я имею свои понятия о долге честного человека.

– В самом деле, Аммалат-бек? Не худо, однако ж, если бы ты чаще держал это на сердце, чем на языке. В последний раз позволь спросить тебя: хочешь ли послушать советов друга, которого меняешь ты на гяура; хочешь ли остаться с нами навсегда?

– Жизнь бы свою отдал я за счастье, которое предлагаешь ты мне так щедро, – но я дал обет воротиться и сдержу его.

– Это решительно?

– Непременно.

– Итак, чем скорее, тем лучше. Я узнал тебя, ты меня знаешь издавна; обиняки и лесть между нами некстати. Не скрою, что я всегда желал видеть тебя зятем своим; я радовался, что тебе полюбилась Селтанета. Плен твой на время удалил мои замыслы... твоё долгое отсутствие, слухи о твоём превращении огорчали меня. Наконец ты явился к нам и все нашел по-прежнему – но ты не привез к нам прежнего сердца. Я надеялся, ты опять нападешь на прежний путь, – и обманулся, горько обманулся! Жаль, но делать нечего; я не хочу иметь зятем слугу русских...

– Ахмет-хан! я однажды...

– Дай мне кончить. Твой шумный приезд, твоё исступление у порога больной Селтанеты открыли всем и твою привязанность, и наши взаимные намерения. Во всех горах прославили тебя женихом моей дочери... но теперь, когда разорван союз, пора рассеять и слухи. Для доброй славы моего семейства, для спокойствия моей дочери тебе должно оставить нас, и теперь же. Это необходимо, это неизменно. Аммалат! мы расстанемся добрыми друзьями – но *здесь* увидимся только родными, не иначе. Да обратит Алла твоё сердце и приведет к нам нераздельным другом... до тех пор прости!

С этим словом хан поворотил коня и поскакал во весь опор, вправо к своему поезду.

Если б на сонного Аммалата упал гром небесный, и тогда он не был бы так изумлен, испуган, как этим неожиданным объяснением. Уже давно и пыль легла на след хана, но Аммалат все еще стоял неподвижен на том же холме, чернея в зареве заката.

Глава IX

Для укрощения мятежных дагестанцев полковник Верховский с полком своим стоял в селении Кяфир-Кумык лагерем. Палатка Аммалат-бека разбита была рядом с его палаткою, и в ней Сафир-Али, развалившись небрежно на ковре, потягивал донское, несмотря на запрещение пророка. Аммалат-бек, худой, бледный, задумчивый, лежал, склоня голову на валец, и курил трубку. Уже три месяца прошли с той поры, как он, изгнанник рая, скитался с отрядом в виду гор, куда летело его сердце и не смела ступить нога. Тоска источила его, досада пролила желчь на его прежде радушный нрав. Он принес жертву своей привязанности к русским и, казалось, упрекал в ней каждого русского. Неудовольствие пробивалось в каждом его слове, в каждом взгляде.

– Прекрасная вещь – вино, – приговаривал Сафир-Али, преисправно осушая стаканы. – Верно, Магомету попались на аравитском солнце прокислые подонки, когда он запретил виноградный сок правоверным. Ну право, эти капли так сладки, будто сами ангелы с радости наплакали своих слез в бутылки. Эй, выпей еще хоть стаканчик, Аммалат-бек; сердце твое всплывет на вине легче пузырька. Знаешь, что пел про него Гафиз?..

– А ты знаешь? Не докучай, добро, Сафир-Али, мне своим вздором, ни даже под именем Саади и Гафиза.

– Эка беда! Ну да хоть бы этот вздор был мой доморощенный, он не серьга: в ухе не повиснет. Небось, когда заведешь сказку про свою царицу Селтанету, я гляжу тебе в рот, как тому искуснику, который ел огонь и мотал из-за щек бесконечные ленты. Тебя заставляет говорить чепуху любовь, а меня донское – вот мы и квиты!.. Ну-тко, за здоровье русских!

– Что полюбились тебе эти русские?

– Скажи лучше, отчего разлюбил ты их?

– Оттого, что разглядел поближе. Право, ничем не лучше наших татар. Так же падки на выгоды, так же охочи пересуживать, и не для того, чтобы исправить ближнего, а чтобы извинить себя; а про лень их и говорить нечего. Долго они властвуют здесь, а что сделали доброго, какие постановили твердые законы, какие ввели полезные обычаи, чему нас выучили, что устроили или построили они порядочного? Верховский открыл мне глаза на недостатки моих одноземцев, но с этим вместе я увидел и недостатки русских, которые тем больше непростительны, что они знают полезное, выросли на добрых примерах, и здесь, будто забыв свое назначение, свою деятельную природу, понемногу утопают в животном ничтожестве.

– Надеюсь, ты не включаешь в это число Верховского?

– Не только его, и других наберем в особый круг; зато многих ли их?

– Ангелы и в небе наперечете, Аммалат-бек, а Верховскому, право, хоть молиться можно за его правду, за его доброту. Есть ли хоть один татарин, который бы сказал про него худо?.., есть ли солдат, что не отдаст за него души?.. Абдул-Гамид! еще вина! Ну-тко, за здоровье Верховского!

– Избавь! я не стану теперь пить за самого Магомета!

– Если у тебя сердце не так черно, как глаза Селтанеты, ты неотменно выпьешь за Верховского, хоть бы это было при краснобородых яхунтах³² дербентских шагидов, хотя бы все имамы и шихи³³ не только облизывались, но огрызались на тебя за такое святотатство.

– Не выпью, говорю я тебе.

– Послушай, Аммалат, я готов за тебя напоить допьяна черта своей кровью, а ты не хочешь для меня выпить вина!

³² Тарковцы секты сунни. Яхунт – старший мулла.

³³ Имам – святой; ших – пророк.

– То есть в этот раз не стану пить; а не стану потому, что не хочу, а не хочу потому, что кровь и без вина бродит во мне, как молодая буза.

– Пустые отговорки! Не в первый раз мы пьем, не впервые у нас кровь кипит... Скажи лучше прямо: ты сердит на полковника?

– Очень сердит!

– Можно ли узнать за что?

– За многое. Давно уже стал подливать он каплю по капле яду в мед дружбы своей... Теперь эти капли переполнили и пролили чашу. Терпеть не могу таких полу теплых друзей! Щедр он на советы, не скуп и на поучение, то есть на все, что не стоит ему никакого труда, никакого риска.

– Понимаю, понимаю. Верно, он не пустил тебя в Авариию?

– Если бы ты носил в груди мое сердце, ты бы понял, каково было мне услышать такой отказ. Как давно манил он меня этим и вдруг отринул самые нежные просьбы, разбил в пыль, как хрустальный кальян, самые лестные ожидания... Ахмет-хан, верно, смягчился, когда прислал сказать, что желает видеть меня, – и я не могу спешить к нему, лететь к Селтанете!

– Поставь-ка, брат, себя на его место и потом скажи, не так ли же бы поступил ты сам?

– Нет, не так. Я бы просто сказал с самого начала: «Аммалат! не жди от меня никакой помощи». Я и теперь не прошу от него помощи, прошу только, чтобы он не мешал мне, – так нет – он, заграждая от меня солнце всех радостей, уверяет, что делает это из участия, что это впереди принесет мне счастье!.. Не значит ли это отравлять в сонном питье?

– Нет, друг. Если оно и в самом деле так, то сонное питье дают тебе, как человеку, у которого хотят что-нибудь вырезывать для исцеления. Ты думаешь об одной любви своей – Верховскому же надобно хранить без пятна и твою и свою честь, а вы оба окружены недоброхотами. Поверь, что так или иначе, только он вылечит тебя!

– Кто просит его лечить меня? Это божественная болезнь, любовь, – моя единственная отрада! И лишит меня ее – все равно что вырвать из меня сердце за то, что оно не умеет биться по барабану!

В это время вошел в ставку незнакомый татарин, подозрительно осмотрелся кругом и с низким наклоном головы поставил перед Аммалатом туфли свои. По азиатскому обычаю это значило, что он просит тайного разговора. Аммалат понял его, кивнул головою, и оба вышли на воздух. Ночь была темна, огни погасли, и цепь часовых раскинута далеко впереди.

– Здесь мы одни, – сказал Аммалат-бек татарину. – Кто ты и что тебе надобно?

– Мое имя Самит. Я дербентский житель, секты сунни, и теперь служу в отряде, в числе мусульманских всадников. Порученье мое важнее для тебя, чем для меня... *Орел любит горы!*

Аммалат вздрогнул и недоверчиво взглянул на посланца: то была условная поговорка, которой ключ написал ему Султан-Ахмет заранее.

– Как не любить гор, – отвечал он. – В горах много ягнят для орла, *много серебра для человека.*

– *И булата для витязей (игидов) ...*

Аммалат схватил посланца за руку.

– Здоров ли Султан-Ахмет-хан? – спросил он торопливо. – Какие вести принес ты от него? Давно ли видел его семью?..

– Не отвечать, а спросить я прислан. Хочешь ли ты за мною следовать?

– Куда? Зачем?

– Ты знаешь, кто прислал меня, – этого довольно; если не веришь ему, не верь и мне: в том твоя воля и моя выгода. Чем лезть в петлю ночью, я и завтра успею известить хана, что Аммалат не смеет выехать из лагеря!

Татарин попал в цель. Щекотливый Аммалат вспыхнул.

– Сафир-Али! – вскричал он громко.

Сафир-Али встрепенулся и выбежал из палатки.

– Вели подвезь себе и мне хоть неоседланных коней и с тем вместе сказать полковнику, что я поехал осмотреть поле за цепью... не крадется ли какой бездельник под часового. Ружье и шашку, да мигом!

Коней подвели. Татарин вскочил на своего, привязанного неподалеку, и все трое понеслись к цепи. Сказали пароль и отзыв и мимо секретов понеслись влево по берегу быстрой Узени.

Сафир-Али, который очень неохотно расстался с бутылкою, ворчал на темноту, на кусты и овраги и очень сердито побрякивал подле Аммалата, но видя, что никто не начинает разговора, решил сам завести его.

– Прах на голову этого проводника, – сказал он. – Черт знает, куда ведет и куда заведет он нас! Пожалуй, еще продаст лезгинам ради богатого выкупа... Не верю я этим косым!

– Я и прямоглазым мало верю, – отвечал Аммалат. – Но этот косой прислан от друга. Он не изменит нам.

– А чуть задумает что-нибудь похожее, так при первом движении я распластаю его, как дыню. Эй, приятель, – закричал Сафир-Али проводнику, – ради самого царя *джинниев* (духов), ты, кажется, сговоришься с терновником оборвать с чухи моей галуны. Неужто не нашел ты попросторнее дороги? Я, право, не фазан и не лисица!

Проводник остановился.

– Правду сказать, я слишком далеко завел такого неженку, как ты, – возразил он. – Оставь здесь постеречь коней, покуда мы с Аммалат-беком сходим куда следует.

– Неужели ты пойдешь в лес без меня с этой разбойничьей харею? – шепнул Сафир-Али Аммалату.

– То есть ты боишься остаться здесь *без меня*? – возразил Аммалат, слезая с коня и отдавая ему повод. – Не поскучай, милый. Я оставлю тебя в прелюбезной беседе волков и чакалов. Слышишь, как они распевают?

– Дай Бог, чтобы мне не пришлось выручать твои кости от этих певчих, – сказал Сафир-Али.

Они расстались. Самит повел Аммалата между кустами над рекою и, прошедши с полверсты между камнями, начал спускаться книзу. С большою опасностью лезли они по обрыву, хватаясь за корни шиповника... и наконец, после трудного пути, спустились до узкого жерла небольшой пещеры, вровень с водою. Она была вымыта потоком, когда-то быстрым, но теперь иссякшим. Известковые, трубчатые капельники и селитряные кристаллы сверкали от огня, разложенного посредине. В глуби лежал Султан-Ахмет-хан на бурке и, казалось, нетерпеливо ожидал, чтобы Аммалат огляделся в густом дыме, клубившемся в пещере. Ружье со взведенным курком лежало у него на коленях; космы его шапки играли на ветре, который дул из расселины. Он приподнялся приветливо, когда Аммалат-бек кинулся к нему с приветом.

– Я рад тебя видеть, – сказал он, сжимая руку гостя, – рад и не скрываю чувства, которого не должно бы мне хранить. Впрочем, я не для пустого свидания ступил ногою в кляпцы и потревожил тебя. Садись, Аммалат, и посудим о важном деле.

– Для меня, Султан-Ахмет-хан?

– Для нас обоих. С отцом твоим водил я хлеб-соль – было время, когда и тебя считал я своим другом...

– Только считал?..

– Нет, ты и был им и навсегда бы остался им, если б между нами не прошел лукавец Верховский.

– Хан, ты не знаешь его.

– Не только я, скоро ты сам его узнаешь!.. Но начнем с того, что касается до Селтанеты. Аммалат, тебе известно, ей нельзя век сидеть в девках. Это был бы зазор моему дому – и я откровенно скажу тебе, что за нее уже сватаются.

Сердце будто оторвалось в Аммалате... долго не мог он собраться с духом... Наконец, оправясь, он дрожащим голосом спросил:

– Кто этот смельчак жених?

– Второй сын шамхала, Абдул-Мусселим. После тебя, по высокой крови своей, он больше других горских князей имеет права на Селтанету...

– После меня? после меня? – вскричал вспыльчивый бек, закипая гневом. – Разве меня схоронили? Разве и память моя погибла между друзьями?

– Ни память, ни сама дружба не умерла, по крайней мере в моем сердце. Но будь справедлив, Аммалат, столько же, как я откровенен. Забудь, что ты судья в своем деле, и реши: что должно нам делать. Ты не хочешь расстаться с русскими, а я не могу с ними помириться...

– О, только пожелай этого, только скажи слово – и все забыто, все прощено тебе. В этом ручаюсь я тебе головою и честью Верховского, который не раз мне обещал свое ходатайство. для собственного блага, для спокойствия аварцев, для счастья твоей дочери и моего блаженства умоляю тебя: склонись к примирению, и все будет забыто, все прежнее возвращено тебе!

– Как смело ручаешься ты, доверчивый юноша, за чужую пощаду, за чужую жизнь!.. Уверен ли ты в своей собственной жизни, в собственной свободе?

– Кому нужна моя бедная жизнь! Кому дорога воля, которой не ценю я сам?

– Кому? Дитя, дитя! Неужели ты думаешь, что у шамхала не вертится под головой подушка, когда в голову забирается дума, что ты, настоящий наследник шамхальства тарковского, в милости у русского правительства?

– Я никогда не надеялся на его приязнь и никогда не побоюсь его вражды.

– Не бойся, но и не презирай его. Знаешь ли, что гонец, посланный к Ермолову, минутою опоздал приехать упросить его: не давать пощады, казнить тебя, как изменника! Он и прежде готов бывал убить тебя поцелуем, если б мог, а теперь, когда ты отослал к нему слепую дочь его, он не скрывает к тебе своей ненависти...

– Кто посмеет тронуть меня под защитой Верховского?

– Послушай, Аммалат, я скажу тебе побасенку: баран ушел на поварню от волков – и радовался своему счастью и хвалился ласками приспешников. Через три дня он был в котле. Аммалат, это твоя история! Пора открыть тебе глаза. Человек, которого считал ты своим первым другом, – первый предал тебя. Ты окружен, опутан изменою. Главное желание мое свидеться с тобою было долгом предупредить тебя. Святая Селтанету, мне дали от шамхала почувствовать, что через него я вернее могу примириться с русскими, нежели через безвластного Аммалата, что тебя скоро удалят так или сяк, безвозвратно, следственно, нечего бояться твоего совместничества. Я подозревал еще более и узнал более, чем подозревал. Сегодня перехватил я шамхальского нукера, которому поручены были переговоры с Верховским, и пыткой выведал от него, что шамхал дает пять тысяч червонцев, чтобы известить тебя... Верховский колеблется и хочет послать только в Сибирь навечно. Дело еще не решено, но завтра отряд идет по домам, и они согласились съехаться в твоём доме, в Буйнаках, торговаться о крови или кровавом поте твоём: будут составлять ложные доносы и обвинения, будут отравлять тебя за твоим же хлебом и ковать в чугунные цепи, суля золотые горы!

Жалко было видеть Аммалата во время этой ужасной речи. Каждое слово, как раскаленное железо, вторгалось в сердце его. Все, что доселе таилось в нем утешительного, благородного, высокого, – вспыхнуло вдруг и превратилось в пепел. Все, во что он веровал так охотно и так долго, – рушилось, распадалось в пожаре негодования. Несколько раз порывался он говорить, но слова умирали в каком-то болезненном стане... и наконец дикий зверь, которого дер-

жал в усыплении Аммалат, – сорвался с цепи: поток проклятий и угроз пролился из уст разъяренного бека.

– Мсть, мсть! – восклицал он, – неумолимая мсть – и горе лицемерам!

– Вот первое достойное тебя слово, – сказал хан, скрывая радость удачи. – Довольно ползал ты змеем, подставляя голову под пята русских; пора взвиться орлом под облака, чтобы сверху блюсти врага, недосыгаем его стрелами. Отражай измену изменою, смерть смертью!

– Так, смерть и гибель шамхалу – хищнику моей свободы; гибель Абдул-Мусселиму, который дерзнул простереть руку на мое сокровище!

– Шамхал? Сын его, семья его – стоят ли они первых подвигов? Их всех мало любят тарковцы, и если мы пойдем на шамхала войною, нам все его семейство выдадут в руки. Нет, Аммалат, ты должен сперва нанести удар подле себя: сверзить своего главного врага; ты должен убить Верховского.

– Верховского! – произнес Аммалат, отступая. – Да, он враг мой, но он был моим другом, он избавил меня от позорной смерти!

– И вновь продал на позорную жизнь!.. Хорош друг! Притом же ты сам избавил его от кабанных клыков, – достойной смерти свиноеду! Первый долг заплачен; остается отплатить за второй: за участь, которую он готовит тебе так коварно...

– Чувствую... это должно... но что скажут добрые люди? что будет вопиять совесть моя?

– Мужу ли трепетать перед бабьими сказками и плаксивым ребенком – совестью, когда идет дело о чести и мести? Я вижу, Аммалат, что без меня ты ни на что не решишься, – не решишься даже жениться на Селтанете. Слушай: если ты хочешь быть достойным зятем моим, первое условие: смерть Верховского. Его голова будет калым за невесту, которую ты любишь, которая любит тебя. Не одна мсть, но и сама здравая расчетливость требует смерти полковника. Без него весь Дагестан останется без головы и оцепенеет на несколько дней от ужаса. В это время налетим мы на рассеявшихся по квартирам русских. Я сажусь на коня с двадцатью тысячами аварцев и акушинцев – и мы падём с горы на Тарки, словно снежная туча. Тогда Аммалат – шамхал дагестанский – обнимет меня как друга, как тестя. Вот мои замыслы – вот судьба твоя! Выбирай любое: или вечную ссылку, или смелый удар, который сулит тебе силу – и счастье. Думай, решайся – но знай, что в следующий раз мы встретимся или родными, или врагами непримиримыми!

Хан исчез.

Долго стоял Аммалат, буруеваемый, пожираемый новыми, ужасными чувствами. Наконец Самит напомнил ему, что время возвратиться в лагерь. Не зная сам как и где, взобрался он вслед за своим таинственным провожатым на берег, нашел коня – и, не отвечая ни слова на тысячу вопросов Сафир-Али, примчался в свою палатку. Там все муки душевного ада ожидали его. Тяжка первая ночь бедствия, но еще ужаснее первая ночь кровавых дум злодейства.

Глава X

– Замолчишь ли ты, змееныш? – говорила татарка внуку своему, который, проснувшись перед светом, плакал от безделья. – Умолкни, говорю, или я выгоню тебя на улицу.

Старуха эта была мамка Аммалата. Сакля, в которой жила она, стояла вблизи палат бекских и подарена ей была ее воспитанником. Она состояла из двух чистенько выбеленных комнат. Пол в обеих устлан циновками (*гасиль*); в частых нишах, без окон, стояли сундуки, обитые жостью, и на них наложены перины, одеяла и вся рухлядь. По карнизам, на половине высоты стены, расставлены были фаянсовые чашки для плову, с жестяными на них, в виде шлемов, колпаками, и повешены ребром на проволоке тарелочки, в коих просверленные скважины доказывали, что они служат не для употребления, а для красоты. Лицо старухи покрыто было морщинами и выражало какую-то злую досаду – обыкновенное следствие одинокой, безрадостной жизни всех мусульманок. Как достойная представительница своих ровесниц и землячек, она ни на одну минуту не переставала ворчать про себя и вслух бранить внука из-под стеганого своего одеяла.

– *Кесь* (Молчи)! – вскричала наконец она еще сердитее, – *кесь*! Или я отдам тебя *гоулям* (чертям)! Слышишь, как они царапаются по кровле и стучатся за тобой в двери?

Ночь была ненастная, и крупный дождь по плоской кровле, составляющей вместе потолок, и стон ветра в трубе вторили ее хриплому голосу. Мальчик притих и, выпуча глаза, со страхом прислушивался... В самом деле послышалось, будто кто-то стучит в двери. Старуха перепугалась в свою очередь. Всегдашняя ее собеседница, лохматая собака подняла спросоньев морду и залаяла прежалобным голосом.

Но между тем удары в дверь усилились, и незнакомый голос проревел за нею:

– *Ачь капины, ахырын ахырыси* (Отвори дверь на конец концов)!

Старуха побледнела.

– Аллах бисмаллах!.. – произнесла она, то обращаясь к небу, то грозя собаке, то унимая плачущего ребенка. – Цыц, проклятая! Молчи, говорю я тебе, *харам-зада* (бездельник, сын позора)! Кто там? Какой добрый человек пойдет ни свет ни заря в дом к бедной старухе! Если ты шайтан, ступай к соседке Кичкине – ей давно пора в ад показать дорогу! Если *чоуш* (десятник), – что, правду сказать, немножко похуже шайтана, – так убирайся прочь. Зятя нет дома, он в нукерах при Аммалат-беке, да меня же бек давным-давно освободил от постоя, а на угощение приезжих дармоедов не жди от меня ни яйца, не то чтобы утенка. Разве я даром выкормила грудью Аммалата...

– Да ответишь ли ты, чертово веретено, – с нетерпением вскричал голос, – или я из этой двери не оставлю тебе на гроб дощечки!

Хилые затворы затрещали на петлях своих.

– Милости просим, милости просим! – сказала старуха, дрожащей рукой отстегивая закладку. Дверь распахнулась, и вошел человек среднего роста, прекрасной, но угрюмой наружности. Он был в черкесском платье; с башлыка его и белой бурки струилась вода; он без всяких обиняков сбросил ее на перину и начал развязывать лопасти башлыка, которые закрывали ему лицо до половины. Фатьма, вздвув в это время свечу, стояла перед ним со страхом и трепетом; усатая собака, прижав хвостик, съежилась в углу, а мальчик с испугу залез в камелек, который для красоты никогда не был топлен.

– Ну, Фатьма, спесива стала, – сказал незнакомец, – не узнаешь ныне старых знакомцев...

Фатьма взглядела в черты пришельца, и у ней отлегло от сердца: она узнала Султан-Ахмет-хана, который от Кыфир-Кумыка примчался в одну ночь в Буйнаки.

– Пусть песок засыплет глаза, которые не узнали своего старого господина! – произнесла она, почтительно сложив руки на груди. – Правду молвить, потухли они в слезах по своей родине, по Аварии. Прости, хан, старухе!

– Что твои за лета, Фатьма! Я тебя помню маленькою девочкою в Хунзахе, когда сам я насилу мог доставать воронят из гнезда.

– Чужая сторона хоть кого старит, хан! В родимых горах я бы по сих пор была свежа как яблочко, а здесь так словно снежный ком, с горы упавший на долину. Прошу сюда, хан, здесь покойнее. Да чем мне потчевать дорогого гостя? Не угодно ли чего душе ханской?

– Душе ханской угодно, чтоб ты его попотчевала своей доброй волею.

– Я в твоей воле, хан. Говори, приказывай.

– Слушай, Фатьма, мне некогда терять ни слов, ни часов. Вот зачем я приехал сюда. Сослужи мне службу языком, так будет чем потешить твои старые зубы. Я подарю тебе десять баранов и одену в шелк с головы до башмаков.

– Десять баранов и платье, шелковое платье! О милостивый ага! О добрый мой хан! Не видывала я здесь таких господ с тех пор, как увезли меня эти проклятые татары и выдали за немилого... Все готова сделать, хан, хоть ухо режь!

– Резать незачем, надобно только остро держать его. Вот в чем дело: к вам сегодня придет Аммалат с полковником, придет и шамхал Тарковский. Полковник этот приколдовал к себе молодого твоего бека и, научив есть свинину, хочет окрестить его христианином, от чего да сохранит его Магомет.

Старуха оплевывалась, возводя очи к небу.

– Чтобы спасти Аммалата, надо поссорить его с полковником. Для этого ты приди к нему, кинься в ноги, расплячься, как на похоронах, – ведь слез тебе не занимать ходить к соседкам; разбожись, как дербентский лавочник, вспомня, что каждую клятву твою повезет дюжий баран, – и, наконец, скажи ему, что ты подслушала разговор полковника с шамхалом, что шамхал жаловался за отсылку дочери, что он ненавидит его из боязни, чтобы он не завладел шамхальством, что он умолял полковника позволить убить его из засады или отравить в кушанье, – а тот соглашался только заслать его в Сибирь за тридевять гор. Одним словом, выдумай и распиши все покраснее. Ты искони славилась сказками; не съешь же теперь грязи и пуще всего упирай на то, что полковник, едучи в отпуск, возьмет его с собою в Георгиевск, чтобы разлучить с родными и преданными нукерами и оттоле скованного отправить к черту.

Султан-Ахмет прибавил к сему все нужные подробности для придания этой сказке самой правдоподобной наружности и раза два учил старуху, как ловче ввернуть их в речь.

– Ну, помни же все хорошенько, Фатьма, – сказал он, надевая бурку. – Не забудь и того, с кем имеешь дело.

– Валла, билла! Пусть будет мне пепел вместо соли, пусть нищенский чурек закроет мне глаза, пусть...

– Не корми шайтанов своими клятвами, а послужи мне речами. Я знаю, что Аммалат верит тебе крепко, и если ты для пользы же его хорошо сладишь дело, он уедет ко мне и тебя привезет туда же. Заживешь под моим крылышком припеваючи. Но повторяю тебе: если ты нечаянно или нарочно изменишь мне или помешаешь своею болтовнёю, то я из твоего старого мяса напеку шайтанам кебаба³⁴.

– Будь покоен, хан... им нечего делать ни за меня, ни со мною. Я буду хранить тайну, как могила, а на Аммалата надену сорочку свою³⁵.

– Ну то-то же, старуха. Вот тебе золотая печать на губы – постарайся!

³⁴ Кусочки жареного мяса на вертеле (шашлык).

³⁵ То есть передаст ему свои чувства; татарское выражение.

– Баш уста, гёз уста!³⁶ – вскричала старуха, с жадностью схватив червонец и целуя руки хана за этот подарок.

Султан-Ахмет-хан с презрением взглянул на это ползающее существо, выходя из сакли.

– Гадина, – проворчал он, – за барана, за кусок парчи готова бы ты продать и тело дочери, и душу сына, и счастье воспитанника!

Он не подумал, какое имя заслуживал он сам, опутывая друга коварством и нанимая для низкой клеветы, для злодейских намерений подобных существ!

Отрывок из письма полковника Верховского к его невесте

Лагерь близ селения Кяфир-Кумык

Август.

...Аммалат любит, но как любит!! Никогда, и в самом пылу моей юности, не доходила любовь моя до такого исступления. Я горел, как кадило, зажженное лучом солнца, он пышет, как запаленный молнией корабль на бурном море. С тобою, Мария, мы не раз читали Шекспирова «Отелло», и только неистовый Отелло может дать идею о тропической страсти Аммалата. Он часто и долго любит говорить о своей Селтанете... и я сам люблю внимать его огнедышащему красноречию. Порой это мутный водопад, извергнутый глубокою пещерою; порой это пламенный ключ нефти бакинской. Какие звезды сыплют тогда его очи, какой зарницею играют щеки, как он прекрасен бывает тогда! В нем нет ничего идеального, но зато земное величаво, пленительно. Увлеченный, тронутый сам, я принимаю на грудь свою изнемогшего от восторга юношу, и он долго, медленными вздохами дышит и потом, склонив очи, опустив голову, будто стыдясь глядеть на свет, не только на меня, сжимает мне руку и неверною стопою уходит прочь... после того целый день не выманишь от него слова.

Со времени возврата своего из Хунзаха он стал еще мрачнее прежнего; особенно в последние дни. Он так старательно кроет самое высокое, самое благородное чувство, сближающее человека с божеством, как будто бы оно позорная слабость или ужасное преступление. Он убедительно просился съездить еще раз в Хунзах повздыхать на свою красавицу – и я отказал ему, отказал для его же пользы. Я уже давно писал к Алексею Петровичу о моем баловне, и он велел привезти его с собой на воды, где будет сам. Он хочет дать ему поручения к Султан-Ахмет-хану, которые принесут несомненные выгоды и России и Аммалату... О, как счастлив буду я его счастьем... Мне, мне будет обязан он блаженством жизни, не только пустою жизнью. Я заставляю его стать перед тобой на колени и скажу: «Боготвори ее!» Если бы сердце мое не было проникнуто любовью к Марии, ты не овладел бы Селтанетой.

Вчера получил я летучку от главнокомандующего; великодушный человек! Он дает крылья счастливым вестям. Все кончено, милая, бесценная. Я еду к тебе на воды! Только доведу полк до Дербента – и в седло. Не буду знать устали днем, ни дремы ночью, покуда не отдохну в твоих объятиях. О, кто мне даст крылья на перелет! Кто даст сил вынести мое, *наше* благополучие!.. Я в сладком страхе сжимал грудь, чтобы не выпорхнуло сердце. Долго не мог я уснуть: воображение рисовало мне встречу в тысяче видах, и в промежутках мелькали самые вздорные, но приятные заботы о свадебных безделках, подарках, уборах: ты будешь в моем любимом зеленом цвете... не правда ли, душа моя?.. Мечты мешали мне заснуть, как сильное благоухание роз. Зато тем сладостнее, тем светлее был сон мой. Я видел тебя в сиянии зари... и раз за разом иначе, и каждый раз прелестнее, чем сперва. Сновидения вились цветочною вязью... иль нет, между ними не было никакой связи; то были чудные образы, выпадающие в калейдоскопе, столь же пестрые, столь же неуловимые. Со всем тем я проснулся сегодня грустен; пробуждение отняло у младенческой души моей любимую игрушку. Я зашел в палатку к Аммалату...

³⁶ *Охотно и позвольте!* Слово в слово значит на мою голову, на мои очи!

он еще спал... лицо его было бледно и сердито... Пускай сердится на меня... я предвкушаю уже благодарность бурного юноши. Я, как судьба, втайне создаю ему наслаждение...

.....

Сегодня я прощался с здешними горами, надолго... желал бы навсегда. Я очень рад, что покидаю Азию, эту колыбель рода человеческого, в которой ум доселе остался в пленках. Изумительна неподвижность азиатского быта в течение стольких веков. Об Азию расшибились все попытки улучшения и образования; она решительно принадлежит не времени, а месту. Индийский брамин, китайский мандарин, персидский бек, горский уздень неизменны, те же, что были за две тысячи лет. Печальная истина! Они изображают собою однообразную, хотя и пеструю, живую, но бездушную природу. Мечи и бичи покорителей не оставили на них, как на воде, никаких рубцов; книги и примеры миссионеров не произвели ни малейшего влияния. Иногда меняли они еще пороки, но никогда не приобретали чужих познаний или доблестей. Я покидаю землю плода, чтобы перенестись в землю труда – этого великого изобретателя всего полезного, одушевителя всего великого, этого будильника души человеческой, заснувшей здесь негой на персях прелестницы природы. И в самом деле, как прелестна здесь природа! Всклаив на высокую гору влево от Кыфир-Кумыка, я любовался на рассветающие вершины Кавказа. Глядел и не нагляделся на них! Что за дивная прелесть облекает их венцом своим. Еще тонкая завеса, сотканная из света и сумрака, лежит над нижними холмами, но далекие льды уже теплились в небе, и небо, словно ласковая мать, припав к ним необъятным лоном, поило их млеком облаков, заботливо повивая туманною пеленою, освежая ветром тиховейным! О, так бы летом и полетела туда душа моя, туда, где священный холод простерся границею между земным и небесным! Сердце просит и жаждет вздохнуть воздухом небожителей. Хочется побродить по снегам, на которых не печатлел человек кровавых стоп своих, коих не омрачала никогда тень орла, до коих не долетали перуны и на вечно юном темени которых время – след вечности – не оставило следов своих!

Время? Мне пришла в голову странная мысль. Сколько дробных названий изобрел щепетильный человек для деления бесконечно малого отрезка времени от бесконечно великого круга вечности. Годы, месяцы, дни, часы, минуты... У Бога нет ничего этого, нет даже ни вчера, ни завтра, – у него все это слилось в одно вечное *ныне!*.. Увидим ли мы когда-нибудь этот океан, в котором тонем доселе? Но вопрос: к чему послужит это человеку? Неужели для удовлетворения пустого любопытства? Нет, познания истины, то есть всеразумной благости, жаждет душа человека мыслящего. Она хочет полною чашею черпать из источника света, который падает на нее изредка мелкими росинками!..

И я буду черпать ее... тайный страх смерти тает как снег перед лучом такой надежды!.. Я буду черпать из него... чистая любовь моя к ближнему тому залогом; свинцовые путы заблуждений распадутся от немногих слез раскаяния – и повергну сердце свое, как жертву очистительную, перед судом, для меня не страшным!

Чудная вещь, моя милая! Едва взгляну я на горы, на море, на небо... какое-то грустное и вместе невыразимо сладостное чувство гнетет и расширяет сердце. Мысль о тебе сливается с ним, и, будто во сне, убегает от меня твой образ. Предвкушение ли это земного блаженства, которое знал я лишь по имени, или предчувствие... вечности?..

О бесценная, добрая, ангельская душа! Один взор твой – и я исцелен от мечтательности! Как счастлив я, что могу теперь с уверенностью сказать: «До свиданья».

Глава XI

Яд клеветы пожигал внутренность Аммалата. По наущению хана, кормилица его Фатъма со всеми признаками преданности и бескорыстной искренности передала ему условленную заранее сказку в тот же самый вечер, как он с Верховским приехал в Буйнаки, где встретил их шамхал, из учтивости и уважения к полковнику. Отравленная стрела вонзилась глубоко... Теперь сомнение было бы отрадою Аммалату, но убеждение, казалось, озарило все прежние дружественные и родственные связи его светом ярким, хотя погребальным. В порыве ярости он хотел в ту же минуту утолить месть свою в крови обоих изменников – но уважение к святыне гостеприимства преодолело кровожадность. Он отложил на время убийство... Но мог ли забыть о нем? Каждый миг отсрочки, как разожженная медь, капал на его сердце. Воспоминания, доказательства, ревность, любовь вырывали оное друг у друга... и это положение было для него так ново, так странно, так страшно, что он впадал в безумие, тем более тяжкое, что он должен был скрывать внутреннюю борьбу от своего прежнего друга. Так протекли целые сутки. Отряд остановился лагерем близ селения Бугдень, в котором ворота, построенные в ущелий, служащем дорогою в Акушу, замыкают оную по произволу жителей бугденских. Вот что писал Аммалат, желая хоть чем-нибудь облегчить тоску души, готовящейся на черное злодеяние..

Полночь.

...Зачем бросил ты, Султан-Ахмет-хан, молнию в грудь мою? Братская дружба – и братопредательство, братоубийство... Какие ужасные крайности? И между ними только один шаг, одно мгновение!..

Я не могу спать, не могу думать о другом, я прикован к этой мысли, как преступник к колоде своей. Кровавое море ходит, плещет, бушует кругом меня, и над ним сверкают только молнии вместо звезд... Душа моя подобна теперь голой скале, на которую слетаются одни хищные птицы и злые духи делить добычу или готовить гибель. Верховский, Верховский! что сделал я тебе? За что хочешь ты сорвать с неба звезду моей свободы? Не за то ль, что я так нежно любил тебя!! И почему ты подкрадываешься, как вор, клеветешь, коварствуешь, лицемеришь? Сказал бы просто: «Мне нужна жизнь твоя», и я бы отдал ее безропотно... лег жертвою, как сын *Ибрагима* (Авраама); я бы простил тебя, если б ты посягал только на жизнь мою, но продать мою свободу, похитить у меня, заживо погребенного, Селтанету! Злодей! и ты еще дышишь!..

Но повременно, как опаленный голубь среди пожарного дыма, является мне образ твой, Селтанета!.. Отчего ж я не радостен, мечтая о тебе, как, бывало, прежде?.. Нас хотят разлучить, милая, отдать тебя другому, женить меня на могильной плите. ноя пройду до тебя по кровавому ковру... я исполню страшный завет, чтобы овладеть тобою. Не одних подруг зови на свадебный пир наш – зови коршунов и воронов... всех угощу я досыта! Я заплачу богатое вено (*калым*)... В изголовье невесты положу я сердце, которое недавно еще ценил я дороже тронной подушки персидского падишаха³⁷.

...Чудная судьба!.. Невинная девушка, ты будешь виною неслыханного злодейства. Добрейшее создание, за тебя друзья станут терзать друг друга с зверскою лютостию. для тебя?.. за тебя?.. В самом ли деле за одну тебя?.. С лютостию? с одной ли лютостию? Верховский говорил, что убить неприятеля украдкою, врасплох – подло, низко... но если я не могу иначе сделать этого?.. Но можно ли ему верить? Хитрец хотел заранее опутать не только руку, но даже и совесть мою!.. Напрасно!..

...Я зарядил теперь винтовку мою... Какой славный витой ствол... что за чудесная насечка! Она досталась мне от отца, отцу от прадеда. Мне рассказывали про множество знаме-

³⁷ Подушка сия, унизанная дорогими камнями и жемчугом, не имеет цены.

нитых из нее выстрелов... и ни один, ни один не был пущен украдкою... всегда в бою, всегда в глазах целого войска бросала она смерть... а теперь?.. Но обида, но измена, но ты, Селтанета!.. О, рука моя не дрогнет нанести удар тому, которого имя написать она трепещет. Один заряд, один удар – и все кончено!

Заряд?.. Как он легок... Но как тяжело, может быть, станет каждое зернышко пороху на весах Аллы!.. Как далеко, как невообразимо далеко забросит этот заряд душу человека!.. О, да будет проклят тот, кто изобрел тебя, серая пыль, предающая героя во власть последнего труса, поражающая издали врага, который бы одним взором обезоружил поднятую на него руку! Так, этот удар расторгнет все прежние связи мои, но он проложит мне дорогу к новым. В прохладе Кавказа, на груди Селтанеты освежится вновь мое увялое сердце. Как ласточка, я совою себе гнездо на чужбине; как для ласточки, весна будет моим отечеством; я сброшу с себя все печали, как старые перья...

...Но линяют ли угрызения совести?.. Последний лезгин, завидя в бою того, с кем делил хлеб-соль, отворачивает коня в сторону и стреляет мимо, – а я пронжу сердце, на котором отдыхал как брат родной! Конечно, он обманывал меня своей дружбою, но разве оттого менее был я счастлив? О, если бы этими слезами я мог выплакать гнев свой, залить ими жажду мщения, купить на них Селтанету!!

Что же медлит заря! Пускай выходит она... Я, не краснея, взгляну на солнце, не бледнея, в очи Верховскому. Сердце мое закалено против сострадания... измена зовет измену... Я решился... Скорей, скорей!

Так беспорядочно, бессвязно писал Аммалат, чтобы обмануть время и развлечь душу; так старался он обмануть самого себя, подстрекая себя местию, когда истинная вина его кровожадности, то есть желание владеть Селтанетою, пробивалась в каждом слове. Чтобы придать себе дерзости на злодеяние, он выпил много вина и, опьянелый, с ружьем кинулся к палатке полковника. Но, увидя часовых у входа, раздумал. Врожденное в азиатце чувство самосохранения не погасло и в самом безумии. Аммалат отложил до утра совершение убийства – но спать не мог он, но разгулять тоски своей не мог он... и, войдя снова в палатку свою, он схватил за грудь крепко спящего Сафир-Али и сильно потряс его.

– Вставай, соня! – вскричал он ему. – Уже заря.

Сафир-Али приподнялся с недовольным видом и, зевая, отвечал:

– Я вижу только винное зарево на твоих щеках. Спокойной ночи, Аммалат!

– Вставай, говорю я тебе! Мертвые должны покинуть гробы навстречу нового пришельца, которого обещал я им для беседы!

– Помилуй, братец, разве я мертвый?.. Пускай себе встают хоть сорок имамов³⁸ с дербентского кладбища – а я хочу спать!

– Но ты любишь пить, гяур, и ты должен пить со мною!

– Это иное дело... наливай полнее... Алла верды³⁹ Я всегда готов пить и любить!

– И врага убить!.. Ну, еще... за здоровье черта, который друзей оборачивает смертельными врагами.

– Так и быть... катай за здоровье черта – бедняжке нужно здоровье; мы вгоним его в чахотку с досады, что не удастся нас посорить!

– Правда, правда... люди не нуждаются в нем для злобы... С Верховским и со мной он бросил бы карты... Но и ты не отстанешь, надеюсь, от меня?..

³⁸ Мусульмане верят, что в часовне, на северном кладбище Дербента, положены сорок первых правоверных, замученных язычниками; русские суеверы подозревают, что тут схоронены сорок мучеников.

³⁹ Бог дал, то есть на здоровье. Приглашая пить, говорят.

– Аммалат, я не только вино из одной бутылки, да и молоко сосал из одной груди с тобою. Я твой, если даже тебе вздумается, словно коршуну, свить себе гнездо на скале Хунзаха... Впрочем, мой бы совет...

– Никаких советов, Сафир-Али... никаких возражений... Теперь уже не время...

– И в самом деле, они перетонут, как мухи в вине; теперь пора спать...

– Спать, говоришь ты? Мне спать? Нет, я сказал прости сну... мне пора пробудиться. Осмотрел ли ты ружье, Сафир-Али? Хорош ли кремь? Не отсырел ли от крови порох на полке?..

– Что с тобою, Аммалат? Что у тебя за свинцовая тайна на сердце? Лицо твое страшно, речи еще страшнее...

– А дела будут еще ужаснее! Не правда ли, Сафир-Али, моя Селтанета прекрасна! Заметь это: моя Селтанета... Неужели это свадебные песни, Сафир-Али?.. Да, да, да, понимаю... это чакалы просят добычи!.. Духи и звери! погодите немного, я насыщу вас. Гей! подайте вина, еще вина, еще крови... говорю я вам!

Аммалат упал в беспамятстве опьянения на постелю; пена била клубом с его уст, судорожные движения волновали все тело; он произносил со стоном невнятные слова.

Сафир-Али заботливо раздел его, уложил, укутал и просидел остаток ночи над молочным братом своим, напрасно приискивая в уме разрешения загадочным для него речам и поведению Аммалата.

Глава XII

Поутру, перед выступлением, дежурный по отряду капитан пришел к полковнику Верховскому с рапортом и за новыми приказаниями. После обычного размена слов по службе он со встревоженным видом сказал:

– Полковник, я обязан сообщить вам важную вещь. Вчерашний вестовой ваш, рядовой моей роты Хамитов, подслушал разговор Аммалат-бека с его кормилицей в Буйнаках. Он казанский татарин и порядочно понимает здешнее наречие. Сколько мог он разобрать и послушать, старуха уверяла его, что вы с шамхалом собираетесь отправить его на каторгу. Аммалат бесился, бранился, говорил, что все это знает он от хана Аварского, и клялся погубить вас своею рукою. Не доверяя, однако ж, своему слуху, вестовой не решился ничего объявить, а стал присматривать за всеми его шагами. Вчерась ввечеру, говорит он, Аммалат разговаривал с каким-то издали приехавшим всадником... на прощанье сказал он: «Скажи хану, что завтра, чуть встанет солнце, все будет кончено. Пусть готовится он сам, я с ним скоро увижусь!»

– И только, господи капитан? – спросил Верховский.

– Более ничего не имею я сказать, но очень многое могу думать. Я измыкал свой век между татарами и удостоверился, полковник, что безрассудно доверяться самому лучшему из них. Родной брат не безопасен, отдыхая на руке брата.

– Тому вина зависть, капитан; Каин передал ее в вечное и потомственное владение всем людям, но преимущественно соседям Арарата. Нам же с Аммалатом нечего делить; притом же я ничего не сделал ему, кроме добра, ничего не хочу делать, кроме благодеяний. Будьте покойны, капитан: я очень верю усердию вестового, но мало его знанию татарского языка. Несколько сходных звуков ввели его в заблуждение – а уж раз создал в уме умысел, все прочее казалось ему доказательствами. Право, я не такой важный человек, чтобы ханы и беки делали заговоры на жизнь мою. Я очень хорошо знаю Аммалата; он вспыльчив, но доброго сердца и не смог бы двух часов потаить злодейского умысла.

– Не ошибитесь, полковник! Аммалат все-таки азиат, а это слово – аттестат. Здесь не как у нас. Здесь слово скрывает мысль, а лицо – душу. На иного взглянешь – ну, кажется, сама невинность, а попытайся иметь с ним дело: это бездна подлости, коварства и лютости.

– Вы имеете полное право так думать, любезный капитан, по опыту. Султан-Ахмет-хан дал вам памятную поминку в Буйнаках, в доме Аммалата. Но я, я не имею никакого повода подозревать в чем-либо ужасном Аммалата. Да и какую выгоду найдет он убить меня? Во мне все его блага, все надежды. Он сумасброд, но не сумасшедший... притом же, как видите, солнце высоко, а я жив и здоров. Сердечно благодарю вас, капитан, за участие... но прошу вас: не сомневайтесь в Аммалате и, видя, как ценю я старую дружбу, будьте уверены, что я буду высоко ценить и новую. Прикажете бить подъем!

Капитан вышел, сомнительно качая головою. Барабаны загремели, и выстроенный в боевой порядок отряд двинулся с ночлега далее. Утро было свежо и ясно; путь вился по зеленым валам предгорий кавказских, где, инде увенчанных лесом или кустарником. Строй был подобен стальному потоку, то катящемуся с гор, то востекающему на холмы. Туманы еще лежали в удолиях, и Верховский, въезжая на вершины, каждый раз оглядывался, чтобы полюбоваться чудною игрою зрения. Спускаясь с крутизны, строй точно будто тонул в дымной реке, подобно войскам фараона, и наконец с глухим шумом вновь сверкали штыки из волн тумана, потом являлись головы, плечи; люди росли, вырастали, взбегали на высь и снова окунывались в туманы другого ущелья.

Аммалат ехал бледен и угрюм, подле самого взвода застрельщиков. Казалось, он желал, чтобы грохот барабана заглушил в нем голос совести. Полковник подозвал его к себе и очень ласково сказал:

– Тебя надобно пожуришь, Аммалат: чересчур ты начал следовать урокам Гафиза. Вспомни, что вино хороший слуга, но злой барин. Впрочем, головная боль и желчь, разлитая по твоему лицу, верно действуют на тебя гораздо лучше слов. Ты провел буйную ночь, Аммалат?

– Бурную, мучительную ночь, полковник! Дай Бог, чтобы такая ночь была последнею... Мне снились страшные сны.

– Ага, дружок! Вот таково преступать завет Магомета – правоверная совесть тебя мучила, как стену.

– Хорошо, у кого совесть спорит с одним вином.

– Какова совесть, любезный! По несчастию, она так же подвержена предрассудкам, как и сам рассудок. У каждого века, у каждого народа была своя совесть, и голос вечной, неизменной истины умолкал перед самозванкою. Так было, так есть. Что вчера считал иной грехом смертным, тому завтра молится; что считают правым и славным на этом берегу, за речкой доводит до виселицы.

– Однако ж, я думаю, лицемерие и измена никогда и нигде не считались добродетелями!

– Не скажу и этого. Мы живем в таком веке, где лишь удача решит, хороши или нет были средства ее достигнуть; где люди самые совестные изобрели для себя очень покойное правило, что цель освящает средства.

Аммалат-бек в раздумье повторил эти слова, потому что их оправдывал. Яд эгоизма снова начинал в нем разыгрываться, и слова Верховского, которые считал он коварством, лились, как масло на пламя. «Лицемер, – говорил он про себя, – час твой близок!» И между тем Верховский, как жертва, ничего не подозревающая, ехал рядом с своим палачом. Не доезжая верст восьми до Киекента, с горы открылось перед ними Каспийское море, и думы Верховского понеслись над ним, как лебедь.

– Зеркало вечности, – произнес он, впадая в мечтания. – Отчего не радуется сегодня меня лицо твое? Как прежде, играет на тебе солнце, словно Божья улыбка, и лоно твое так же величаво дышит вечною жизнью, – но это жизнь не здешнего мира, ты кажешься мне сегодня печальною степью... ни лодки, ни корабельного паруса, никакого признака бытия человеческого... Все пусто!! Да, Аммалат, – примолвил он, – мне наскучило ваше почти всегда сердитое, пустое море; ваш край, населенный болезнями и людьми, которые хуже всех болезней в свете... мне наскучила самая война с незримыми врагами, самая служба с недружными товарищами. Этого мало, что мне мешали в деле, портили, что я приказывал делать... но порочили то, что я думал делать, и клеветали на сделанное. Верой и правдой служил я государю, бескорыстно отечеству и здешнему краю; отказался я, добровольный изгнанник, ото всех удобств жизни, ото всех радостей общества, осудил свой ум на неподвижность, без книг; похоронил сердце в одиночестве, без милой... и что было мне наградой? О, скоро ль настанет минута, когда я брошусь в объятия моей невесты, когда я, усталый от службы, отдохну под сенью родной хижинки на златном берегу Днепра!.. когда, мирный селянин и нежный отец семейства, в кругу родных и добрых крестьян моих, буду бояться только града небесного за жатву, сражаться только с дикими зверями за стадо. Сердце ноет по этом часу! Отпуск у меня в кармане, отставка обещана... так бы летом летел к невесте... И через пять дней я непременно буду в Георгиевске, а все кажется, будто пески Ливии, будто ледяное море, будто целая вечность могилы разлучают нас!..

Верховский умолк; по щекам его катились слезы; конь его, почуяв брошенные поводья, ускорил ход, и, таким образом, вдвоем с Аммалатом они далеко опередили отряд... Казалось, сама судьба предавала полковника в руки злодея.

Но жалость проникла в душу неистового, вином пылающего Аммалата, подобно лучу солнечному, упавшему в разбойничью пещеру. Он увидел тоску и слезы человека, которого

столь долго считал другом своим, – и поколебался... «Нет, – думал он сам с собою, – до такой степени невозможно притворяться...»

В эту минуту Верховский очнулся, поднял голову и сказал Аммалату:

– Приготовься... ты едешь со мною.

Несчастные слова! Все доброе, все благородное, возникавшее вновь в груди азиатца, в один миг было подавлено ими. Мысль о предательстве, о ссылке огненным потоком протекла по всему его существу.

– С вами? – возразил он с злобною усмешкою, – с вами в Россию? О, без сомнения, *если* вы сами поедете!

И в порыве гнева он пустил вскачь коня своего, чтобы иметь время справиться с оружием, и вдруг обратился навстречу полковнику, пронесся мимо и стал давать быстрые круги около. С каждым скоком сильнее разгоралось в нем пламя бешенства. Ему казалось, что свистящий мимо ушей воздух жужжал ему: «Убей, убей! Это враг твой! Вспомни Селтанету...» Он схватил из-за плеча меткое ружье свое, взвел курок и, ободряя себя криком, поскакал с кровожадною решительностью к обреченной жертве.

Между тем Верховский, не питая ни малейшего подозрения, спокойно смотрел на скачку Аммалата, воображая, что он, по напутному обычаю азиатцев, хочет поджигитовать.

– Стреляй в цель, Аммалат-бек! – закричал он несущемуся на него убийце.

– Какая цель лучше груди врага! – отвечал Аммалат-бек, наскакывая, и в десяти шагах спустил курок... выстрел грянул... и молча, медленно свалился полковник с седла. Испуганный конь его, вздув ноздри, ошетилив гриву, обнюхивал всадника, в руке которого замерли доселе повелительные поводья, – а конь Аммалата стал вдруг перед телом, упершись передними ногами. Аммалат соскочил с него и, опершись на дымящееся ружье, несколько мгновений пристально смотрел на лицо убитого, как будто желая доказать самому себе, что он не страшит этого неподвижного взора потухающих очей, этой холодеющей крови!.. Трудно было узнать, невозможно передать того, что крутилось вихрем в груди его. Сафир-Али прискакал стремглав и кинулся на колени подле полковника... Приложил ухо к устам его – не дышит! ошупал сердце – не бьется!

– Он мертв! – произнес Сафир-Али отчаянным голосом.

– Мертв? Совсем мертв? Тем лучше... счастье мое свершено! – произнес Аммалат, будто пробуждаясь от сна.

– Для тебя счастье! для тебя, братоубийцы!.. Если ты найдешь его, свет станет молиться шайтану вместо Аллы.

– Сафир-Али! вспомни, что ты не судья мне! – грозно сказал Аммалат, ступая в стремя. – Следуй за мною.

– Пускай одно раскаяние преследует тебя как тень, – отныне я не товарищ твой!

Пронзенный до глубины души неожиданным укором от человека, с которым связан был дружеством от младенчества, Аммалат не вымолвил слова, указал своим изумленным нукерам на ущелие и, видя погоню, как стрела ринулся в горы.

Тревога распространилась по фронту; передовые офицеры и донские казаки кинулись на выстрел, но они поздно прискакали туда; они не могли ни воспрепятствовать злодейству, ни достичь убегающего злодея. Через пять минут окровавленный труп изменнически убитого полковника окружен был толпами солдат и офицеров... Недоумение, негодование, жалость были написаны на всех лицах. Гренадеры, опершись на штыки, плакали навзрыд; и нелюбимые слезы текли у них градом по храбром любимом начальнике.

Глава XIII

Трое сутки скитался Аммалат по горам Дагестана. Как мусульманин, он и в деревнях, покорных русскому владычеству, между людьми, для коих воровство, разбой и бегство – доблесть, безопасен был от всякого преследования; но мог ли уйти от сознания в собственном преступлении? Ни ум, ни сердце его не оправдывали кровавого поступка... и образ падающего с коня Верховского неотступно возникал даже перед закрытыми глазами. Это еще более ожесточало, раздражало его. Азиатец, совратясь однажды с пути, быстро пробегает поприще злодейства. Завет хана, чтоб не являться перед него без головы Верховского, звенел в ушах его. Не смея открыть такого намерения нукерам своим, еще менее надеясь на их отвагу, он решился ехать к Дербенту один-одинехонек, целиком, через горы и доли.

Глухая, темная ночь раскинула уже креповые крылья свои над приморскими хребтами Кавказа, когда Аммалат переехал ущелие, лежащее сзади крепости Нарын-кале, служащей цитаделью Дербенту. Он поднялся к развалинам башни, замыкавшей некогда кавказскую стену, поперек гор тянувшуюся, и привязал коня своего у подножия того кургана, с которого Ермолов громил Дербент, бывши еще артиллерийским поручиком. Зная, где хоронят чиновников, он прямо вышел на верхнее русское кладбище. Но как найти ему свежую могилу Верховского во тьме ночи? В небе ни звездочки; облака налегли на горы... горный ветер, как ночная птица, хлопал по лесу крыльями; невольный трепет проник Аммалата посреди края мертвецов, коих покой дерзал он нарушить. Прислушивается – море бушует, напирая и отшибаясь от подводных плит. Протяжное «слушай!» часовых обтекало стены города, и вслед за ним раздавался вой чакалов, и наконец все стихало, сливаясь с шумом ветра. Сколько раз вместе с Верховским бодрствовал он в подобные ночи, – и где теперь он? И кто низвергнул его в могилу? И его убийца пришел теперь обезглавить труп недавнего друга, надругаться над его останками; как вор гробокопный, пришел похитить достояние могилы, спорить с чакалами о добыче.

– Чувства человеческие! – произнес Аммалат, отирая холодный пот с чела, – зачем посещаете вы сердце, которое отверглось человечества? Прочь, прочь! Мне ль бояться отнять голову у мертвеца, у которого похитил я жизнь? Ему это не потеря, а мне сокровище... Прах бесчувствен!

Аммалат дрожащей рукой высек огня, раздул его на сухом бурьяне и пошел с ним искать новой могилы. Рыхлая земля и большой крест указали ему последнее жилище полковника. Он выдернул крест и начал разгребать им холмик; разбил еще неокрепленный кирпичный свод и наконец сорвал крышку с гроба. Бурьян, вспыхивая, проливал неровный кровосиний блеск на предметы. Склонясь над покойником, убийца, бледнее самого покойника, глядел на труп неподвижно. Он забыл, зачем пришел туда... голова его кружилась от запаха тления... сердце в нем обратилось при виде кровоголовых червей, которые вились уже из-под платья. Прервав свою страшную работу, они, испуганные светом, расползались, собирались, прятались друг под друга! Наконец, ожесточась, он несколько раз взмахивал кинжалом, и всякий раз немеющая рука его падала мимо. Ни месть, ни честолюбие, ни любовь – словом, ни одна страсть, подвигшая его на убийство, не ободряли теперь на безымянное неистовство. Отворотив голову, в каком-то забытии стал он рубить Верховского по шее... на пятом ударе голова отделилась от туловища. С отвращением бросил он ее в приготовленный мешок и спешил вылезть из могилы. До сих пор он еще побеждал себя – но когда с страшным кладом своим карабкался вверх, когда камни с шумом обрушились под его ногами и он, осыпанный песком, снова упал на труп Верховского, присутствие духа оставило святотатца... ему казалось, что пламя охватило его, что адские духи, плеща и хохоча, взвились окрест его... С тяжким стоном вырвался, выполз он без памяти из душной могилы и бросился бежать, страшась оглянуться. Вскочив на коня, он

погнал его, не разбирая утесов и оврагов, и каждый цепляющийся за платье куст казался ему рукою мертвеца, и каждый шелест ветки и стон чакала – голосом дважды зарезанного друга.

Везде, где ни проезжал Аммалат, встречал он вооруженные толпы акушлинцев и аварлы, приезжих чеченцев и тайных хищников из татарских деревень, подвластных России. Все они спешили на сборные места, ближе к границе, между тем как беки, уздени и князьки съезжались в Хунзах, для совета с Султан-Ахмет-ханом, под предводительством и по приглашению которого собирались они ударить на Тарки. Время к тому было самое благоприятное: хлеб в амбарах, сено в стогах, и русские, взяв аманатов, в совершенной безопасности расположились на зимние стоянки. Весть об убийстве Верховского разлетелась по всем горам и весьма ободрила горцев. Весело сходились они отовсюду – везде слышались их песни о будущих битвах и добычах, – а тот, за кого шли сражаться они, проезжал между ними, как беглец и преступник, скрывая лицо от солнца, не смея взглянуть никому прямо в глаза. Все, что случилось с ним, все, что видел он, теперь представлялось ему будто в удушливом сне... он не смел сомневаться в том и не мог верить. На третий день к вечеру доехал он до Хунзаха.

Трепеща от нетерпения, прыгнул он с коня, измученного бегом, и взял из тороков роковой мешок. Передние комнаты были полны воинами. Наездники в кольчугах расхаживали или вдоль стен лежали на коврах, шепотом разговаривая между собою... но повисшие брови их, но угрюмые лица доказывали, что в Хунзахе получены, верно, худые вести. Нукеры бегали взад и вперед торопливо, и никто не спросил, никто не проводил Аммалата, никто не обратил на него внимания. У самых дверей спальни ханской сидел Сурхай-хан-джинка, то есть побочный сын Султан-Ахмета, – и горько плакал.

– Что это значит? – с беспокойством спросил его Аммалат. – Ты, у которого и в младенчестве не добивались слез, ты плачешь?..

Сурхай безмолвно указал на двери, и Аммалат с недоумением переступил за решетчатый порог.

Сердцераздирающее зрелище представилось глазам пришельца. Посреди комнаты на тюфяке лежал хан, обезображенный быстрою болезнью. Незримая, но уже неотразимая кончина носилась над ним, и погасающий взор встречал ее с ужасом. Грудь вздымалась высоко и потом тяжело опадала; дыхание шипело в гортани, жилы рук напрягались и снова исчезали; в нем свершалось последнее борение жизни с разрушением... пружина бытия уже лопнула, но колеса еще двигались неровным ходом, задевая друг за друга. Едва искры памяти мелькали в нем, как падучие звезды сквозь ночь, густеющую над душою, и отражались на мертвеющем лице. Жена и дочь рыдали на коленях у его ложа... старший его сын Нуцал в безмолвном отчаянии стоял в ногах, склонив чело на сжатую руку. Несколько женщин и нукеров плакали тихо поодаль.

Все это, однако ж, не поразило, не образумило Аммалата, преисполненного одною мыслию. Он твердою поступью приблизился к хану и громко сказал ему:

– Здравствуй, хан, я привез тебе подарок, от которого бы оживился мертвец. Готовь свадьбу – вот мой выкуп за Селтанету! Вот голова Верховского! – С этим словом он бросил ее к ногам хана.

Знакомый голос пробудил на миг Султан-Ахмета от последнего сна; он поднялся с усилием, чтобы взглянуть на подарок, и трепет волной пробежал по его телу, когда он увидел мертвую голову.

– Пускай съест свое сердце тот, кто потчует умирающего такой ужасною яствою, – произнес он едва внятно. – Мне надо помириться с врагами, а не... Ах, горю! Дайте воды, воды... Зачем вы напоили меня горячею нефтью? Аммалат! я проклиная тебя!..

Усилие истратило последние капли жизни в хане: он упал бездушным трупом на изголовье. Ханша с негодованием смотрела на кровавый, неуместный подарок Аммалата; но когда увидела она, что это ускорило смерть ее мужа, вся тоска ее вспыхнула огнем гнева.

– Посол ада, – вскричала она, сверкая взором. – Любуйся: вот твои подвиги! Если б не ты, муж мой не задумал бы подымать на русских Аварлу и теперь здоров и покоен сидел бы дома – но для тебя, объезжая узденей, он упал с крутизны и слег в постелю, – и ты, кровопийца, вместо того чтоб утешить больного кроткими словами, чтобы молитвою и милостыней помирить его с Аллахом, принес, как людоеду, мертвую голову, и чью голову? – твоего благодетеля, защитника и друга!

– На то была воля хана, – угрюмо возразил Аммалат.

– Не клевети на мертвого, не марай его памяти лишнею кровью! – воскликнула ханша. – Недовольный тем, что изменнически зарезал ты человека, – ты с его головою приехал сватать дочь мою у смертного одра отца, и ты надеялся получить награду от людей, заслужив мечь от Бога? Безбожник, бездушник! Нет, гробом предков и саблями сыновей клянусь: ты никогда не будешь зятем моим, знакомцем, гостем моим. Удались из моего дома, изменник! У меня есть сыновья, которых можешь ты зарезать обнимая, у меня есть дочь, которую можешь ты зачаровать, отравить змеиными своими взорами. Ступай скитаться в ущельях гор – учи тигров терзать друг друга и отбивай падаль у волков. Ступай – и ведай, что дверь моя не отворается для братоубийцы!

Аммалат стоял как опаленный молниею.

Все, что роптала невнятно его совесть, высказано было ему вдруг и так неожиданно, так жестоко! Он не знал, куда девать очи свои... Там лежала голова Верховского с обвинительною кровью, там виделось укорительное чело хана с печатью мучительной кончины, там встречал он грозные очи ханши... лишь плачущие очи Селтанеты казались ему приветными звездочками сквозь дождевую тучу. К ней-то решился приблизиться он, робко произнеся:

– Селтанета! для тебя совершил я то, за что тебя теряю... Судьба хочет этого – да будет! Одно скажи мне: неужели и ты разлюбила меня? ужели и ты ненавидишь?

Знакомый милый голос проник ее сердце. Селтанета подняла свои ресницы, блистающие слезами, свои глаза, полные тоскою... но, увидев страшное, кровью забрызганное лицо Аммалата, закрыла опять их рукою. Она указала перстом на труп отца, на голову Верховского и твердо сказала:

– Прощай, Аммалат; я жалею тебя, но не могу быть твоею.

Сказав слова сии, она пала без чувств на тело отца.

Вся природная гордость вместе с кровью прилила к сердцу Аммалата. Дух его вспыхнул негодованием.

– Так-то принимают меня здесь! – молвил он, бросая презрительный взгляд на обеих женщин. – Так-то исполняют здесь обеты! Я рад, что глаза мои прояснели. Я был слишком прост, когда ценил переходчивую любовь ветреной девушки, слишком терпелив, слушая бредни старой женщины. Вижу, что с Султаном-Ахмет-ханом умерли здесь честь и гостеприимство!

Он вышел гордо. Он дерзко заглядывал в глаза узденей, сжав рукоять кинжала, как будто вызывая их на бой. Все, однако ж, уступали ему дорогу – но, кажется, более избегая его, чем уважая; никто не приветствовал его ни словом, ни знаком. Он вышел на двор, кликнул нукеров своих, безмолвен сел в седло и тихими шагами поехал по пустым улицам Хунзаха.

С дороги в последний раз оглянулся он на ханский дом, чернеющий в высоте и мраке... между тем как решетчатые двери блистали огнями. Сердце его облилось кровью, оскорбленное самолюбие вонзило в него железные когти свои, а напрасное злодеяние и любовь, отныне презренная, безнадежная, пролили отраву на раны. С тоскою, с гневом, с сожалением бросил он прощальный взор на гарам, в котором узнал и потерял все радости земные.

– И ты, и ты, Селтанета! – более не мог произнести он. Свинцовая гора лежала на груди... совесть его уже чувствовала страшную руку, на ней тяготеющую; минувшее его ужасало... будущее приводило в трепет... Куда преклонит он свою оцененную голову? Какая земля упокоит кости изгнанника? Не о любви, не о дружбе, не о счастье отныне будет его забота... но о скудной жизни, о скитальческом хлебе... Аммалат хотел плакать: глаза его горели... и, как богач, кипящий в огне, сердце его молило об одной капле, об одной слезинке: залить, утолить нестерпимую жажду... он силился плакать и не мог. Провидение отказало в этой отраде злодеям.

И куда скрылся убийца Верховского? Где влачил он жалкое свое бытие? Никто наверно не знал этого. По Дагестану ходили слухи, что он скитался между чеченцами и койсубулинцами, утратив красоту и здоровье и даже самую отвагу; но кто же мог сказать про то утвердительно? Мало-помалу запала и молва об Аммалате, хотя злодейская измена его до сих пор свежа на памяти русских и мусульман, обитателей Дагестана; до сих пор имя его никем не произносится без укора.

Глава XIV

Анапа, эта оружейница горских разбойников, этот базар, на котором продавались слезы, и пот, и кровь христианских невольников, этот племенник мятежей для Кавказа, Анапа, говорю, в 1828 году обложена была русскими войсками с моря и от угорья. Канонерские лодки, бомбарды и все суда, которые могли подходить близко к берегу, громили приморские укрепления. Сухопутные войска переправились через реку Рион, которая впадает в Черное море под северною стеною Анапы и расплывается кругом всего города топкими болотами. Потом повели они бревенчатые траншеи, вырубая для того окрестный лес. С каждою ночью возникали новые бойницы ближе и ближе к стенам города. Внутри дома пылали от бомб, наружные стены рушились ядрами, но турецкий гарнизон, усиленный горцами, дрался отчаянно, делал смелые вылазки и на все предложения о сдаче отвечал пушечными выстрелами. Между тем осаждающие беспрестанно беспокоиваемы были кабардинскими наездниками и пешими стрелками абазехов, шапсугов, нутхайцев и других свирепых горцев Черноморья, сбежавшихся, подобно чакалам, искать добычи и крови. Против них должно было строить обратные реданты, а эта двойная работа, производимая под пушечными выстрелами с крепости и ружейными из леса, в почве неровной и болотистой, очень замедляла покорение города.

Наконец накануне взятия Анапы, на единственном сухоходе с юго-восточной стороны, русские открыли брешь-батарею. Действие ее было ужасно. По пятой очереди зубцы и бруствера были опрокинуты, орудия обнажены и сбиты. Ядра, ударяясь в каменную одежду, вспыхивали молниею, и потом, в черной туче пыли, взлетали куски расторгнутых камней. Стена сыпалась, распадалась, но крепость, но толщина оной долго противостояли разрушительной силе чугуна, и крутым обвалом осыпанная стена не представляла еще возможности к штурму.

Для разгоревшихся орудий и долгою стрельбою утомленных артиллеристов необходим был отдых. Мало-помалу пальба стихла на всех батареях суши и моря. Густые облака дыма катились с берега и расстилались по волнам, то скрывая, то открывая опять флотилию. Изредка срывался клуб дымный с орудий крепости, и вслед за раскатами пушечного грома, отзывающегося в далеких горах, несколько пуль свистали кой-откуда... И вот все умолкло кругом, все притаилось внутри Анапы и траншей; ни одной чалмы между зубцами, ни одного граненого штыка в завалах. Только турецкие знамена по башням и русские флаги на судах гордо играли в воздухе, не омраченном ни одною струйкою дыма; только звучный голос муэдзинов раздавался далеко, призывая мусульман к полуденной молитве.

В это время с пролома, против самой брешь-батареи, спустился, или, лучше сказать, скатился, всадник на белом коне, поддерживаемый веревками, перескочил через полузасыпанный ров и как стрела ударил влево между батареями, перепорхнул через завалы, через дремлющих за ними солдат, которые не ждали и не гадали ничего подобного, и, преследуемый торопливыми их выстрелами, скрылся в лесу. Никто из всадников не успел его рассмотреть, не только за ним гнаться; все только ахали от удивления и досады и скоро забыли про удалца в тревоге, поднятой пальбою с крепости, заведенной нарочно, чтобы дать время бесстрашному вестнику убраться в горы.

К вечеру брешь-батарея, гремевшая неумолчно, почти свершила свое дело разрушения: опрокинутая стена легла мостом для осаждающих, и они с нетерпением отваги готовились к приступу, как вдруг неожиданное нападение черкесов, смявших наши ведеты и цепь, не заставило обратить огонь редантов против неистовых, дерзких горцев. Громовое «Алла, гиль Алла!» понеслось навстречу им со стен Анапы... Пушечная и ружейная пальба закипела с них вдвое сильнее, но русская картечь остановила, смешала, развеяла толпы всадников и пеших черкесов, готовых ударить на орудия в шашки, и они с грозными переκληками: «Гяур, гяурлар» — обратились назад, покидая за собой усталых. В один миг все поле было усеяно их трупами,

их ранеными, которые пытались уползти, карабкались и падали снова, пораженные пулями и картечью, между тем как ядра посекали лес, а гранаты, лопааясь в нем, довершали истребление.

Но с самого начала дела до тех пор, покуда ни одного неприятеля не осталось вблизи, русские с изумлением видели перед собою статного черкеса на белом коне, который тихим шагом проезжал взад и вперед мимо наших редантов. Все узнали в нем того самого всадника, что перескочил через траншею в полдень, вероятно для подговора черкесов напасть на русских сзади, в то время как они хотели выпустить из ворот неудавшуюся теперь вылазку. Брызжа и урча, прыгали около него картечи. Конь его рвался на поводках, но сам он, хладнокровно поглядывая на батареи, ехал вдоль их, будто с них осыпали его цветами. Артиллеристы грызли зубы с досады, видя ненаказанную дерзость этого наездника; выстрел за выстрелом рвали воздух и землю, но он оставался невредим, как очарованный.

– Посылай ядро! – сказал фейерверкеру молодой артиллерийский офицер, только что выпущенный из корпуса, раздосадованный всех более неудачей. – Я готов зарядить пушку своею головою – так хочется мне убить этого хвастуна. Картечью не стоит стрелять по одному... картечь – авось, ядро сыщет виноватого! – Так говоря, он подвинчивал клин и наводил сквозь диоптр орудие и, верно рассчитав, в какое мгновение всадник наедет на черту прицела, встал с хобота и скомандовал роковое «пли!»

На несколько мгновений дым одел батарею мраком... его разнесло... испуганный конь мчал окровавленное тело всадника, запутавшегося ногами в стремени.

– Попал, убит! – закричали со всех траншей, и молодой артиллерист, набожно сняв фуражку, перекрестился и с веселым лицом спрыгнул с батареи, чтобы поймать заслуженную добычу. Ему скоро удалось схватить за поводья коня поверженного в прах черкеса, потому что он кружился, влача его сбоку. Несчастному оторвало руку близ плеча, но он еще дышал, еще стонал и бился. Жалость взяла доброго юношу... он кликнул солдат и заботливо велел перенести раненого в траншею, послал за лекарем и при своих глазах дождался конца операции.

Ночью, когда уже все утихло, артиллерист сидел над полумертвым своим пленником, с участием рассматривая его при тусклом свете фонаря. Змеиный след тоски, проторенный на щеках слезами, глубокие морщины лба, нарезанные не летами, но страстями, и кровавые царапины обезображивали его прекрасное лицо, и на нем выражалось что-то мучительнее боли, что-то страшнее кончины.

...Артиллерист не мог удержать невольного содрогания. Пленник вздохнул тяжело и, с усилием подняв руку до лба, открыл ею свои отяжелевшие веки, произнося про себя неясные звуки, несвязные слова...

– Кровь... – сказал он, разглядывая свою руку, – все кровь!.. Зачем на меня надели *его* кровавую рубашку?.. Я и без того плаваю в крови... Зачем же не тону в ней?.. Как холодна сегодня она!.. Бывало, она жгла меня... да и это не легче!! На свете было так душно... в могиле так холодно!.. страшно быть мертвецом!.. Глупец я: искал смерти... О, дайте мне воротиться на свет!.. Дайте пожить, еще хоть денек, хоть часок пожить!.. Что такое? что? зачем я спрятал в могилу другого? *шепчешь ты...* Узнай сам, каково в ней! узнай, каково умирать!..

Судорожное движение прервало бред его; невыразимо страшный стон вырвался из груди страдальца, и он впал в томительное забытие, в котором одна душа живет еще, чтобы страдать.

Артиллерист, тронутый до глубины сердца, приподнял голову несчастного, sprysнул ему лицо холодною водою и тер спиртом виски, чтобы привести его в чувство. Медленно открыл он очи, несколько раз потряс головою, будто желая отряхнуть с ресниц туман, и пристально устремил зрачки на лицо артиллериста, бледно озаренного мерцанием свечи. И вдруг с пронзительным криком, будто магическою силою, приподнялся он с ложа... волосы его стали дыбом, все тело дрожало лихорадочной дрожью, руки искали что-то оттолкнуть от себя... неописанный ужас изобразился на его лице...

– Твое имя? – вскричал он наконец, обращаясь к артиллеристу. – Кто ты, пришелец из гроба?

– Я Верховский, – отвечал молодой артиллерист.

Это был выстрел прямо в сердце пленнику; лигатура на главной артерии лопнула от прилива, и кровь хлынула сквозь перевязки... Еще несколько трепетаний, несколько хрипений – и ледяная рука смерти задушила в груди раненого последний вздох, сохранила на челе печать последней тоски, собирающей медленность целых лет раскаяния в один быстрый миг, в который душа, отрываясь от тела, чувствует равно муки жизни и ничтожества, чувствует вдруг все угрызения минувшего и все страхи будущего. Страшно было видеть обезображенное лицо этого мертвеца.

– Он, верно, был большой грешник! – тихо сказал Верховский стоявшему подле него генеральскому переводчику, содрогаясь невольно.

– Большой злодей! – примолвил переводчик. – Мне кажется, он был русский беглец. Мне не случалось слышать, чтобы какой-нибудь горец говорил так чисто по-русски, как этот пленник. Дайте-ка мне посмотреть его оружие, не найдем ли на нем каких примет?

Говоря так, он с любопытством обнажил кинжал, снятый с убитого, и, приблизив его к фонарю, разобрал и перевел следующую надпись: «Будь медлен на обиду – к отмщенью скор!»

– Самое разбойничье правило! – сказал Верховский. – Бедный брат мой Евстафий... Ты пал жертвою подобного изуверства! – Глаза доброго юноши наполнились слезами... – Нет ли чего еще? – спросил он.

– Вот, кажется, имя убитого, – отвечал переводчик, – оно: *Аммалат-бек!*

Примечание

Описанное выше происшествие не выдумка. Имена и характеры лиц сохранены в точности; автору повести остается только сказать несколько слов насчет изменения истины в некоторых подробностях.

Аммалат-бек, участвовавший в нескольких набегах на русские владения, был выдан головою приведенными в покорность акушлинцами самому главнокомандующему Кавказским корпусом генералу от инфантерии Ермолову в бытность его в Акуше, 1819 года. Автор заставил его сделать впадение с чеченцами за Терек, чтобы вставить картину горского набега.

Полковник Верховский, находившийся тогда в качестве свитского офицера при главнокомандующем, упротил его помирить Аммалат-бека и взял с собою в Тифлис, учил его, воспитал его, любил его как брата. С ним, после многих походов, приехал Аммалат в 1822 году и в Дербент, когда, по смерти полковника Швецова, Верховского назначили командиром Куринского пехотного полка. Убил он своего благодетеля в 1823 (году) точно так, как описано. Читатель заметит, что автор, не желая растянуть повесть на четыре года, сжал происшествия в два года. Просит у хронологов извинения.

Что касается до завязки повести... она целиком досталась автору из рук молвы, и он не счел за необходимое объявлять на иные главы своего сомнения. Пылкие страсти здесь вовсе не редкость, а мщенье – святыня для каждого мусульманина; это канва. Досужая рука могла вышивать па ней какие угодно арабески; исполать ей, если они сохранили восточную свежесть. Впрочем, мне многие очевидцы говорили, что они не однажды слышали, как Верховский описывал знойную страсть Аммалата к Селтанете, которая славилась в горах красотой. Да и что мудреного, что молодой бек, скитаясь по горам Аварии, влюбился в прекрасное личико дочери Аварского хана, хотя ей, по строгой моей выкладке, не могло в 1819 году быть более 14 лет: девушки созревают на Кавказе неимоверно рано. Молва повествует, что сам Аварский хан требовал от Аммалата головы Верховского вместо *кабыну* (вена) за дочь. Автор сохранил народное предание, но поместил и уверение мамки, истинно бывшее и наиболее убедившее бека.

Смерть Султан-Ахмет-хана случилась точно вскорости после убийства Верховского. Автор ускорил ее для большей игры страстей. Отказ, как говорят, последовал от ханши, ибо Аммалат не застал уже Султан-Ахмета в живых. Что же касается до зверского гробокопства Аммалата – и в этом не отступил автор от рассказов ни на шаг. После похорон, на другую ночь, могила полковника Швецова, за год умершего, была разрыта по ошибке... ее приняли за могилу Верховского... труп вытащили и отрубили у него голову и руку. Об этом до сих пор с негодованием вспоминают все солдаты.

Аммалат скитался долго в горах, преследуем совестью. Потом ушел в Турцию, был в Истамбуле, в 1828 (году) дрался в Браилове против русских; оттуда перед взятием города бежал в Анапу и там умер в том же году. Автор разговаривал с товарищем почти всех его странствий, одним каракайдахским беком.

В заключение сказать должно, что он был красавец собой и с счастливейшими способностями, – все анекдоты об его удалстве в стрельбе и скачке, описанные в 1-й главе, до сих пор ходят в Дагестане; одним словом, ему недоставало для счастья только твердого характера и откровенного сердца. Селтанета до сих пор прелестна собою и, живучи в Бурной крепости с мужем своим Абдул-Мусселимом, свела с ума не одного русского. В утешение тех, которые будут жаловаться, что автор переморил всех героев повести, он почтеннейше извещает, что Селтанета находится теперь в цветущем здоровье и живет после погрома Тарков русскими войсками у матери своей в Аварии.

Сентябрь 1831 года. Дагестан.

Письма из Дагестана

I

Дербент, 1 сентября 1831 года.

Куда вы больно затейливы, любезные мои приятели: пиши вам и часто и много, описывая всю подноготную, и где, и как, и почему. Да что я вам за Саллюстиус, что за Жомини! Мое дело сказать вам: вот что я видел, вот что мне известно... Но много ли увижу я чрез ствол моей стальной зрительной трубки, много ли узнаю в цепи стрелков на пикете, в *секрете*? Я могу довольно верно изобразить вам уголок картины, у которой пороховой дым служит горизонтом и рамами, но не спрашивайте у меня целой панорамы, еще менее – планов сражений и походов. На это не станет у меня ни средств, ни умения, ни досуга.

Но ведь надобно же и вас потешить; надобно же хоть сколько-нибудь познакомить вас с театром дагестанской войны. Итак, разогните карту Кавказа. Реки Самбур (по-русски Самура) и Койсу (при устье разделяющаяся на рукава Аграхан и Сулак), разбегаясь с хребта, первая на юго-восток, другая на северо-запад, образуют огромный неправильный треугольник, пересеченный параллельно берегу Каспия хребтом Салатав и его продолжением. Верх этого треугольника заселен лезгинскими племенами, известными под общим именем тавлинцев (от *тав* – гора); трапедия же, омываемая морем, занята кумыками, дженгутайцами, каракайтацями, табасаранцами. На самом хребте с юга живут вольные табасаранцы, за ними акушинцы, внутрь гор аварцы, за ними по прямой линии очень близок и Тифлис. Ныне, для управления, к Дагестанскому округу присоединен и Бакинский округ, так что граница Дагестана, то есть *страны гор*, касается теперь Ширвани. Города Тарки, Дербент, Куба – вот три оси, около которых должны вертеться колеса нашего рассказа... Покатимся.

Помня Ермолова, горские народы не смели подняться на русских и в смутное время 1826 и 1827 годов, когда войска Аббас-Мирзы проникли до самой Самбуры и все Засамурье поднялось с ними заодно. Этому, правда, способствовало разнoverие. Персияне следуют секте шаги, а все горцы сунниты, и ненавидят друг друга насмерть. Впоследствии, глядя на удачные разбои своих соседей, чеченцев и черкес, пробудились лезгины, около Кахетии живущие. Постройка крепости Закатал в сердце гор стоила многих трудов и крови. Мало-помалу дух мятежа, грозимого карою, проник и в край давно покоренный, в Дагестан. Появление дерзкого проповедника Кази-муллы сосредоточило, дало религиозный характер мятежу, хотя настоящие тому причины давно тлелись под пеплом страсти к хищничеству. Стоит сказать слово об этом необыкновенном человеке, занимающем все базары Кавказа вестями о своих делах или замыслах, про которого поют женщины, качая ребенка, и ребята пугают друг друга.

Кази-Мугаммед родом койсубулинец, из селения Унсукуль. Говорят, будто *дед* его был беглый русский солдат. Ребячество свое провел он в Гимри, в селении, лежащем на южном обрыве Салатава, прямо против Эрпилей. Бедняк, подобно всем своим соотечественникам, возил на осле виноград в шамхальские деревни, для промена его на пшеницу. Эта кочующая жизнь дала ему подробное познание местностей, и он мастерски пользуется им против нас. Впоследствии он отдан был учиться грамоте к одному мулле в селении Бирикее (оно лежит при устье Бугама). Мулла этот, заметив в Кази-Мугаммеде необыкновенное прилежание и смышленность, послал его к известному ученостью кадию Мугаммеду, во владение Аслан-хана Казикумыкского. У него-то, изучив арабский язык, натерся он духом мусульманского изуверства и нетерпимости. Скоро, почитая или выдавая себя за вдохновенного свыше, Казн начал проповедовать ненависть и восстание на неверных. Аслан-хану, человеку равно властолюби-

воту, как далекому фанатизма, не понравилось это хозяйничанье в его владении; он выгнал оттуда с бою и учителя и ученика, говоря, что мусульманам за глаза довольно одного Мугаммеда. Это случилось в 1821 году; с той поры Кази притих, и в нем самом затихли, кажется, надежды на известность. Обстоятельства отравили им крылья.

В 1830 году западные горцы начали производить свои набеги. Друг перед другом рвались они отличиться; но в Дагестане, в котором Кази-Мугаммед начал уже действовать через письма, воззвания, подговоры и обеты, ничего важного не произошло... Река роптала, вздымалась, но еще не выступила из берегов. Над дагестанцами висел, как туча, сильный корпус, сначала под командою генерал-лейтенанта князя Эристова, потом генерал-лейтенанта барона Розена 2-го. Только жители Темир-Хан-Шуры, подвластные шамхалу, ушли из домов своих и порой ночью тревожили перестрелкою лагерь, близ деревни их расположенный. Войска делали только рекогносцировку на Гимринскую гору, ночевали в снегу, полюбовались на рассеянные в Койсубулинском ущелье деревни; стрелки променяли несколько пуль с сторожевыми горцами; артиллерия для опыта бросила несколько гранат; они все лопнули на воздухе, ибо круть и глубина обрыва делают прямые выстрелы невозможными. Войска возвратились в лагерь к Шуре; осенью 14-я дивизия возвратилась на место, а куринцы и апшеронцы разошлись по своим штаб-квартирам⁴⁰. Зимой все было спокойно: почты ходили очень верно от Кубы до самого Кизляра; путники ездили поодиночке; но с появлением подножного корма, этого элемента наездников, все жители поморья начали уклоняться от своих обязанностей. Там и сям совершались убийства... волнение стало заметнее; наконец Навруз-бек, один из старинных дагестанских наездников, долго бывший дружителем русских и находившийся под следствием за дурное управление вверенных ему деревень, бежал из Дербента с удалыми сыновьями своими, набрал шайку, напал на рассеянных в лесу косцов Куринского полка и вырезал многих изменнически. В скором времени поднялись и каракайтахцы, ибо жители многих деревень были участниками сего разбоя. Кази-мулла почти тогда же явился в Дагестане с сильным войском тавлинцев и чеченцев; владения шамхала подняли оружие.

Трудно себе вообразить, как легко взбунтовать азиатцев! Самые нелепые слухи, самые невероятные надежды, самые несбыточные обеты идут у них за чистое золото. И что мудреного! Люди, для которых нет ни *вчера*, ни *завтра* и оттого ни опытности за минувшее, ни расчета на будущее; люди, которые не видят и в настоящем того, что есть и как оно есть, а того менее, как оно быть должно; люди, которым Бог дал довольно ума, но обстоятельства не развернули нисколько разума, – очень легко меняют верное на неверное, более любят ружье, чем заступ, и охотнее переносят нужду, чем труд. Правду сказать, азиатцу не много терять. Сакля его без потолка; он кроет ее тростником. Половина хлебов и лугов его вытоптана; он продает втридорога остальное – и сыт и прав. Напевая себе боевую песенку, он чистит винтовку в глазах русского постояльца. Притом в каждом азиатце неугасим какой-то инстинкт разрушительности: для него нужнее враг, чем друг, и он повсюду ищет первых. Не то чтоб он ненавидел именно русских; он находит только, что русских выгоднее ему ненавидеть, чем соседа, а для этого все предлоги кажутся ему дельными. Разумеется, умные мятежники пользуются всегда такою склонностию и умеют знаменем святости покрывать и связывать мелочные страсти. Надо примолвить, что война с поляками отозвалась и в горах, дав горцам если не надежду на успех, то поруку в долгой бескарности. Кавказ зашевелился: ему вздумалось стряхнуть с хребта своего наших великанов... Не горячись, голубчик! В 1831 году скопища Кази-моллы принимали вид более и более грозный. Небольшой отряд русских, дважды выступая из лагеря под Кяфир-Кумыком, успел разбить шайки возмущившихся жителей. В половине мая генерал-майор Таубе проник в ущелье к д<еревне> Атлы-буйны⁴¹, имел жаркое дело с Кази-

⁴⁰ Один батальон Куринского полка зимовал в с(елеии) Казанищи.

⁴¹ Атлы-буйны напрямик верст тридцать от Тарков.

муллою, но возвратился без успеха на линию. Тогда, как горные потоки, хлынули к Таркам лезгины и залили всю окрестность. Несколько сотен храбрых защищали огромную крепость Бурную, висящую над Тарками; но они были отрезаны от моря и от гор... Отряд генерала Коханова громил в то время деревни изменников, но между им и Тарками шумели волны измены. Сношения были невозможны.

Тарковские жители клялись, как обыкновенно, быть верными власти законной и, как обыкновенно, стоптали свою клятву. В ночи на 26 мая Кази-мулла с своими войсками вступил в город тихомолком; на рассвете жители, под предлогом бегства от приближающегося врага, подкатили арбы с нагорной стороны близко к крепости, под защитой оных кинулись к стенам первые, несмотря на пальбу с блокгаузов, и в один миг заняли стрельницы. Вложив в каждую стрельницу ружей по пяти, они поражали каждого, кто хотел приблизиться... отвечали ударами кинжалов на удары штыков и нередко вырывали друг у друга ружья. Надобно сказать, что в самой крепости нет родников, и потому воду взвозят в нее волами по крутой дороге, иссеченной в утесе. Дорога эта прикрыта стенкою с зубцами; две небольшие башни служат ей для боковой обороны. Немного выше, на повороте дороги, стоял пороховой погреб; на него-то устремились мятежники густыми толпами, чтобы одним ударом лишить гарнизон и воды и снарядов. Предприятие их увенчалось успехом. Закрытые самою стенкою от выстрелов пушечных, они разломали оную, отбили двери погреба и с криками победы ворвались туда на дележ патронов; другие, упоенные удачею, поползли, как змеи, выше, – участь Бурной висела на волоске... Но вдруг граната, решительно брошенная с крепости, лопнула в самых дверях погреба... Этот миг был ужасен!.. Утес дрогнул как лист, гром разорвал ухо, и черный столб, рассеченный пламенем, взвился под облака... Камни и трупы вращались в дымном вихре, страшно чернея на зареве, и вдруг этот столб разветвился широко и, подобно адскому водомету, брызнул на землю изорванные, опаленные останки взрыва. И все еще трепетало, шумело, звучало кругом; камни катались сами собою, стекла рассыпались в пыль, затворы скрежетали, и пепельный дождь, перемешанный кровавыми членами, летел из воздуха.

Ужас, объявивший всех, для русских длился минуту. Майор Федосеев, комендант и воинский начальник в Бурной, предпринимал и пред сим две смелые, хотя гибельные, вылазки, чтобы отбить воду. Он выслал третью, когда еще не опал дым взрыва. Солдаты наши, врезавшись между оглушенных врагов, кололи их беспощадно, кровь лилась на кровь; но обезумевшие горцы кидались вперед и гибли то на штыках, то на острых камнях, сброшенные с крутизны. Это происшествие ободрило осажденных, умирало на время осаждающих. Ночь пала, но она не прекратила перестрелки. Горцы, выжитые продольными выстрелами из-под стен, заняли высоты, владеющие крепостью, и били по бойницам на выбор. Пули летали даже внутрь домов; раненые не были безопасны в постелях.

Между тем недостаток воды поджигал жажду. Плач женщин и жалобный рев четвероногих наводили тоску на самое бесстрашное сердце. Бубны и клики угроз и временные выстрелы раздавались кругом крепости, будто в насмешку уныния, в ней царствующего. Комендант был неусыпен, гарнизон отважен; но что могла сделать горсть людей против тысяч, беспрестанно возрастающих? Русских едва ставало на пятую часть бойниц. Жажда возрастала, а отряд бог весть где. К счастью, один татарин, из числа преданных шамхалу, скрывшемся в крепости, взялся доставить весть об осаде генералу Коханову. Поутру он, показывая вид, будто бежит из Бурной, спрыгнул со стены; по нем открыли холостую пальбу; он удалялся, отстреливаясь, и наконец скрылся в кустарниках, в рядах вражеских. Сердце у каждого солдата билось страхом и ожиданием. Пройдет ли он? Дойдет ли он? Не изменит ли сам? Поверят ли ему?... День минул в перестрелке. Сон не смыкал очей осажденных.

На третье утро с крепости увидели, что горцы, раздраженные безумным огнем башни, стоящей внизу на водяной дороге и совершенно отлученной от всякой помощи, набросали на потолок ее дров, обложили вокруг хворостом и собираются сжечь и сжарить заживо заклю-

чившихся там двенадцать человек солдат, которые решились погибнуть скорее, чем сдаться. Участь, ожидавшая этих бесстрашных, была ужасна... Товарищи видели их бедствие и не могли помочь им!.. Несколько головней, брошенных на кровлю, закурились... Зверские крики радости огласились в толпах осаждающих, – но железные двери распахнулись внезапно, и маленький гарнизон ринулся по дороге вниз к водяной башне, где другая кучка храбрых отсиделась от беспрестанных нападений, хотя и потеряла своего офицера. Один убитый и трое раненых заплатили за это счастливое переселение; но остальные спаслись от страдальческой смерти, тем вернейшей, что у них не было уже ни зерна пороху.

Если б Кази-мулла был опытнее и воины его решительнее, Бурная не могла бы устоять, несмотря на лавинную храбрость гарнизона. С нагорных сторон стены так низки, что враги могли бы штурмовать их с плеч товарищей, и так обширны, что если бы повели атаку со всех фасов, малочисленный гарнизон не знал бы, куда кинуться для отпора. Но блокгаузы ли, заменяющие бастионы, пугали горцев, или вели они нападение с востока оттого, что им ближе было ходить из города, только они будто на смех напирали на самую неприступную сторону; несколько раз порывались отбить ворота и всегда бывали отражаемы с уроном и провожаемы в напутье пулями и картечью. Но солнце клонилось к западу, и с ним западала надежда осажденных. Нет как нет отряда! Нет как нет спасения! Переметчики принесли весть, что к утру Кази-мулла назначил решительный приступ, что лезгины вяжут фашины и лестницы. Русские готовились умереть, не выдав оружия, и в этот миг услышали звук перестрелки, вторимый эхом гор. Можно ли представить себе, не только описать другим, этот переход от отчаяния к радости! Была уже ночь, когда русская граната рассыпалась звездой спасения, – гром пушек и «ура» приветствовали братии. Враги и друзья наши ночевали на оружии! Судьба потрясала жребиями боя и смерти в таинственной урне. Солнце встало кроваво, как боевое знамя; все видели восход его; но сколь многим не суждено было видеть его заката! Я уже описал вам тарковское сражение; вы сами можете вообразить чувства, волновавшие осажденных, когда увидели они малочисленный отряд, идущий в неровный, сомнительный бой с неприятелем, скрытым в стенах, впятеро сильнейшим. Но чего, но кого не одолеют русские? Разбитый Кази-мулла бежал, ночью, пешком. Но он не уныл духом... Скоро узнали мы, что он в течение восьми дней осаждал в Чечне крепость Внезапную и верно бы взял ее, истомив жаждою, если б не подоспел генерал Бекович на выручку. 19 июня генерал Коханов разбил вблизи Тарков еще раз мятежников. Горцы вздумали напасть на русских среди бела дня и почти на открытом месте. Их, как водится, обошли, подпустили на полкартечный выстрел и развеяли в прах. Вот уже правда, что они от дыхания пушек летят как «пух от уст Эола». Больше всех досталось тут мехтулинцам, подручникам Ахмет-хана, которые еще в тарковском деле дрались с нами заодно и потом пристали к мятежникам.

22 августа было дело в Казанищах. Вы его знаете из моих писем. В промежутках отряд жег деревни; впоследствии он стал лагерем близ селения Губдень; это лучшая наблюдательная точка; тут ворота гор, и оттуда равное расстояние до Тарков и Дербента, по два усиленных перехода в каждое. В это время я был в Дербенте.

Между тем искры мятежа, раздуваемые Кази-муллою, вспыхнули пламенем в вольной Табасарани. Вслед за ними взволновались и владения Ибрагим-бека Карцахского, наследника *майе умов* (князей) Табасарани, человека издавна преданного русским. Это принудило генерал-адъютанта Панкратьева, главноуправляющего Закавказским краем, по отбытии графа Паскевича-Эриванского в столицу, отрядить для усмирения Табасарани два батальона 42-го егерского полка, с несколькими сотнями ширванской конницы. Отряд этот поручен был храброму полковнику Миклашевскому, тому самому, который в 1828 году с цепью стрелков сбил турок с Топдагского кладбища, втоптал их в ворота Карса, ворвался с ними вместе внутрь и был главным виновником внезапного взятия этой крепости. Он промчался грозой по Табасарани, по непроходимым лесам и крутизнам, имел сражение на горе Гарбакурани, при Каруль-Гуа, при

Нетарин-Гирве, спалил девять селений, покорил новый магал, заставил присягнуть старшин прочих, – но, вдруг отозванный в Ширвань, ушел из Дагестана⁴². Экспедиция его продолжалась пятнадцать дней; но долго будут помнить в горах Кара-полковника (то есть черного), как называют его горцы.

В это самое время слухи о намерении Кази-муллы напасть на Дербент возросли до вероятия. По вечерам татары теснились в кружки по перекресткам и базарам; женщины, встречаясь на улицах, восклицали: «*Ваксей, джан, джюван! на вар, на олур* (Ахти, молодушка! что слышно, что-то будет)?» – и нередко, присевши на корточки, забывали закрывать лица от прохожих. Мальчишки, прыгая на одной ноге, напевали: «Кази-мулла *геляды* (идет)!» Взад и вперед возили пушки, снаряды. Русские кумушки тащили, как муравьи, свою рухлядь в крепость... В городе кипела какая-то мрачная деятельность. Мне все это казалось очень забавно. «Стоит ли жизнь таких хлопот?» – думал я и преспокойно закуривал фитилем трубку.

Желая, однако ж, узнать мнения дербентцев, преданности которых, признаться, мало верил, я нередко, нахлобучив папах на брови, закутан в татарскую чуху, вмешивался в толпу и прислушивался к народным толкам.

– Ему ли, собачьему сыну, прийти сюда! – говорили иные старики, поглаживая с гордостью красные бороды. – Не ему чета был русский сардарь Кызыль-аях⁴³, да простоял же под Дербентом целую зиму. С той стороны батареи как начнут жарить, так, бывало, у земли лихо-радка делается, а бомбы-то, бомбы! Как ударится одна о другую в воздухе, да и упадут наземь; в большой мечети штук пять нашли сплюснутых, словно блюда. Да и то, если б *мы сами* не захотели выгнать хана, ничего бы не взяли русские. Про старинное нечего и поминать: сколько раз подступали сюда и горцы, и индейцы, и крымцы, – да грязь съели!

– Сожгу я гроб отцов да и прадедов этого Омарова отродья! – говорил другой. – Видишь, что задумал *он!* Всем, кто постарее, – голова долой, кто помоложе – в плен, а женщин наших по рукам разобрать!.. Говорят, уж приказ дал своим все золото с женских монист ему принести, когда будут грабить Дербент, а другое прочее что кому попало⁴⁴. Проклятый недоверок, да еще нас же не считает мусульманами; они, говорит, хуже гяуров!..

– Плюю на бороду этого Тази-муллы⁴⁵, и друзей его, и разбойников его! – восклицал третий, выставя ручку кинжала в оправе, с блестящей насечкою. Пусть только лопатники лезгины покажут сюда нос, так мы им дадим себя знать!

Но между этой хвастни возникал и голос сомнения, чтоб не сказать, страха. Купцы, которые под миродатным владычеством русских давным-давно отвыкли от оружия, оглядывались назад и поговаривали, что русских здесь чересчур мало, что микелляры⁴⁶ городские в сношениях с Кази-муллою, что они, пожалуй, впустят его ночью, что городские стены кругом шесть верст, а в городе нет народа на осьмую часть этой длины и у половины взрослых нет ружей! Иные толковали даже, что конницею можно вбрести в море, объехать стены и ударить с открытой стороны...

– Все горы опрокинутся на нас! – говорили самые робкие. – Абдурзах-кади, Исса-бек, Шамардан-бек и другие окрестные владельцы давно таят измену, давно звали сюда Кази-муллу и теперь уже явно пристали к нему. От генерала Коханова мы отрезаны. Кара-полковник ушел в Ширвань, а того и смотри, что Аслан-хан нагрянет заодно с нашими врагами. Говорят же, что и Акуша и Авария поднимаются!

⁴² Тому причиной были сборища турецких войск на границе.

⁴³ *Золотая Нога* – так называют дагестанцы гр. Валериана Зубова. Они никак не верят, что политические перемены в России, вследствие чего Зубов был отозван в столицу, а вовсе не храбрость дербентцев, были причиною зимовки русских в двадцати верстах от города. Весною город сдался, едва построили первые батареи. Это было в 1796 году.

⁴⁴ Это истина. Такими-то обещаниями наиболее прельстились горцы.

⁴⁵ Тази – собака. Игра слов, вместо Кази.

⁴⁶ Так зовут суннитов дербентских. Шагиды, по ненависти, клеветали на них.

В этих речах было много правды.

II

Наконец 19 августа, верст за пятнадцать от города, наездники Кази-муллы завязали перестрелку с дербентскими разъездами через речку. Неприятель напирал, — дербентцы свились назад. К вечеру 3-й батальон Куринского пехотного полка оставил свои казармы, за две версты от города, выстроенные на высотах Кефары, вступил с барабанным боем в Дербент и расположился на приморских стенах. Крепость Нарынь-кале занята была батальоном Грузинским линейным N 10-го, под командою майора Пирятинского. Стены города во всем их пространстве вверены были защите жителей.

Исправляющий должность дербентского коменданта сделал заранее все нужные распоряжения. Места по фасам были расписаны для действия — точки сбора на случай приступа. Полуразрушенные стены увенчаны наскоро грудною обороною из досок, из корзин с землею, из хвороста. Ночь прошла в ожидании.

И вот утром 20 августа закурился дым по дороге тарковской — это горели стоги сена. Вестники скакали взад и вперед, взвывая пыль по полю; кровли осыпаны были зрителями; женщины, разбросив по ветру чадры, с криком бегали из дома в дом; везде сверкали штыки и сабли; на углах крепости виднелись в высоте артиллеристы, заряжающие орудия. Барабаны гремели. Город, не выдавший в течение тридцати лет ничего воинственного, превратился вдруг в боевой стан. В семь часов запылали куринские казармы в Кефарах, и клубы черного дыма, как перья великанского шишака, осенили противоположащую гору. Первый подскочил к башне (когда-то сторожевой, на углу этой горы стоящей) статный черкес, мелькнул на черном поле дыма и будто улетел с ним... За ним другой, третий... Дербентская конница, как стадо свиристелей, шумя влетела в ворота — и вот рассеянные толпы неприятельской пехоты показывались по всем дорогам и садам, вея белыми значками. Пушка заревела с крепости, — ядро запрыгало между врагами, и клики вражды с обеих сторон огласили воздух. Надобно сказать, что Дербент северным боком стоит над ущельем, которое охватывает с запада крепость оною, Нарынь-кале, и потом простирается в гору. Крутой берег этого ущелья увенчан двумя башнями, когда-то сторожевыми, но теперь покинутыми. Эти башни были в тот же миг заняты мятежниками, и из-за них-то завели они перестрелку по стенам, по улицам, в окна домов и начали складывать из камней завалы (*tranchee*). Меня удивили и потешили четверо дербентских жителей; залегши на горе за камнями, они одни-одинехоньки, на пистолетный выстрел от врагов, оставались три битых часа и не давали высунуть носа из-за гребня холма своими меткими выстрелами; вот что значит решительность! Но между тем завалы росли. Лезгины, как муравьи, таскали по камню, сейчас ложились за ними и посылали к нам брань и пули. В несколько часов обе башни были соединены стенкою, и в бока разведены были крылья (*epaulements*). Пальба не умолкала. Жители сгоряча не жалели порошу; всякий хотел доказать свое удалство или усердие... Пушечные выстрелы держали такт в этой увертюре... Вид был единственный.

Под вечер, вслед за одним капитаном, я сел на коня и поскакал к морю проведать, что там делается. Виноградные сады, перерезанные канавками и терновыми оградами, подходят там почти вплоть к стенам города. Пользуясь этим, неприятельские стрелки пытались подползать шагов на тридцать. Выхожу на стену подле Кизлярских ворот — такая пальба, что небу жарко!.. Несколько человек лезгин хотят унести своего раненого; на раненого упал убитый, на убитого третий. Горцы хотят выручить тела товарищей, — все напрасно. Бедняга раненый бился под трупами, выбрался, пополз, порвался перелезть через плетень и, вновь пробитый многими пулями, повис поперек, как орден Златого Руна. Вперед, вперед!.. Чего жалеть! Вот несут и русского раненого.

На основании разрушенной приморской башни поставлено было легкое орудие. Глядим: кучка неприятельских всадников приехала купаться в море. Ах вы разбойники! Вам надо кровавое омовение за эту дерзость. Фейерверкер! Хватит ли туда ядро? Фейерверкер уверяет, что не хватит. А вот пустим на Божью волю! Капитан, с которым я приехал, присел на лафет, подвинтил по диоптру подушку. «Пли!» Ядро всплескалось, как утка по отмели; прыжок, другой, и как раз в сторону толпы!.. Любо стало видеть, как разбрызнуло она купальников... Ага, дружки! каково наше чугунное мыло? Наводим трубку: тащат троих – и все прочь, и все вроссыпь. Готова ли? «Пли!» – и снова прощальное ядро взвило пыль по полю; одного молодца угодило в полконя, и он вместе с буцефалом своим мельницею закрутился в воздухе. Между тем близ нижнего базара вывезли два единорога, чтобы пронизывать во фланг прибащенные завалы. Гранаты лопались на горе, вздымая прах и дым на зареве заката. Дикий рев радости наших азиатцев провожал каждый удачный выстрел; напротив, клики укора раздавались в скрытых толпах осаждающих, если удар миновал цель. Реже и реже летели навстречу угрозы и пули. Наконец, вечерний намаз укротил перепалку. В течение этого дня неприятель обходил город, с горской стороны занимая гребни холмов, а с кубинской – сады.

Мне впервые удалось быть в осажденном городе, и потому я с большим любопытством обегал стены. Картина ночи была великолепна. Огни вражеских биваков, разложенные за холмами, обрисовывали зубчатые гребни их то черными, то багровыми чертами. Вдали и вблизи ярко пылали солдатские избушки, сараи, запасные дрова. Видно было, как зажигатели перебегали, махая головнями. Стрельба не устала, ибо лезгины подползали к самым стенам, то желая отрезать воду, то зажечь ворота, подбрасывая под них хворост. Самый город чернелся, глубоко потопленный в тени, за древними стенами; но зато крепость, озаренная пожаром, высоко и грозно вздымала белое чело свое. Казалось, по временам она вспыхивала румянцем гнева; медные уста гремели, и эхо гор с ропотом вторило глаголу смерти, между тем как зловещий свист ядра порывался сквозь мрачный воздух. Дикий хор бодрствующих дербентцев: «*Хабардар, оий хабардар* (Остерегайся!)» – и, будто в ответ ему, вечная песня последователей Кази-муллы: «*Ля нилля гиль Алла!*» – раздавались часто. На взморье змеился отблеск двух костров... Так прошла первая ночь.

Встало солнце, и неприятель разыгрался. Конница и пехота потянулись к морю, вероятно пытаясь ворваться в город с открытой стороны. Орудия заговорили и с крепости и с двух новых барбетов, устроенных ночью на дряхлых стенах города. Вот всходит к нам на стену Ибрагим, бек Карчахский, держит речь к дербентцам – зовет их на вылазку подкрепить его нукеров. Идем, идем. Двое русских, тут бывших (один штабс-капитан и я), не дожидаясь, покуда отомкнут ворота, спускаемся со стены. Сорок удалых нукеров Ибрагима кидаются вперед; град пуль встречает нас с сторожевых башен, град пуль осыпает в бок из завалов, на локте ущелья заложенных. «*Юиорь, югюрь* (Бегом!)» – кричат со стены татары. Мы бежим, спускаемся в рытвину, прядаем на камни, взбегаем по крутизне на гору, – ядра режут через нас предтечей гибели. «*Хоччаклар* (Молодцы)!» – кричу я татарам. – Кто выстрелит больше разу из ружья, *алагын дюшанлы* (тот враг Божий). *Сигерма кльинч гиррек* (Ударим лучше с обнаженными саблями)», – и с этим словом, после немногих выстрелов, кидаемся на завал с обнаженными кинжалами. Ура! Наша взяла, пули чрез голову, смятый враг бежит, башни наши, знамя наше – пошла резня. Нукеры Ибрагима, по обычаю, режут головы; мы преследуем неприятеля, который, перестреливаясь, рассыпается по садам, по горам, по стремнинам; отбиваем коней, берем пленных. Но неприятель с Кефаров обращается на нас превосходными силами. Толпы лезгин с воплем стремятся навстречу, и мы отступаем тихо, гордо, оставляя по следам кровь и трупы, разбрасывая завалы вражеские. Замечу одно: с азиатцами можно надежно идти вперед, но зато отступать с ними беда! Они бегают по горам, как серны, и не любят оглядываться назад. Кто не легок на ногу, тому накладно быть с ними в деле.

22 числа еще раз ходили на вылазку с татарами с кубинской стороны. Усердие жителей росло с каждою удачею. Комендантские ворота осаждены были толпами дербентцев, желавших вооружиться. Бывало, римская чернь кричала перед сенатом: «Зрелищ и хлеба!» – здешняя просила ружей и пороху. Им розданы были все залишние ружья 10-го линейного батальона. Стар и мал вооружились кто чем мог. Везде точили кинжалы, везде ковали копья для отражения со стен в случае приступа. 23-го с утра была русская вылазка в приморские сады: выбили неприятеля из предместья, которое он покушался зажигать. Часу в шестом вечера дремал я на стене, утомленный долгою бессонницею, как вдруг крики пробуждают меня... Неужели приступ? Смотрю: татары и русская рота делают вылазку с моря и из Кизлярских ворот, против кладбища Кырхлар, на котором усилились мятежники, собираясь туда молиться на гробе очень уважаемых, хотя очень мало знаемых суннитами сорока мучеников. Знамя Кази-муллы целый уже день веяло на одной из надгробных часовен и словно дразнило русских. Идут, близятся!.. Ретивое во мне так и вспыхнуло: ну летом бы полетел туда! Прикован долгом к своему месту, я принужден был в этот раз остаться только зрителем боя, который совершался перед глазами, как на ладони. Татары, под начальством Фергат-бека, ползли из садов; русские, человек около сотни, шли из Кизлярских ворот; с левой стороны им на помощь выходила из главных еще кучка дербентских жителей. Между тем с горы беспрестанно спускались лезгины на подкрепление своих, перебегая поле под ядрами и картечью. Пальба закипела будто в котле, когда русские пошли в штыки; но ряды стоячих надгробных камней сломали строй; убийственный огонь из двух часовен и длинной мечети остановил сперва дербентцев, потом и русских... Первые обратились назад, вторые замялись... Минута колебания была ужасна для зрителей. Стоило видеть тогда стены и кровли Дербента, усыпанные множеством людей обоего пола и всех возрастов, несмотря на опасность. Крики удовольствия и одобрения гремели вслед нашим, но когда волна отхлынула, мертвое молчание воцарилось на стенах... И дербентцы и лезгины вскочили из-за брустверов, но никто не стрелял друг по другу: взоры и души всех прикованы были к судьбе стычки, – она решилась. Видно было, как выскочил вперед капитан, командовавший ротою, махнул саблей; пушка, подвезенная ближе, брызнула картечью, пальба удвоилась с кладбища, но русское «ура» заглушило ее. Куринцы бросились против камней, оживленных огнем, в штыки – и неприятель дрогнул, побежал. Лезгины прыгали из окон мечети и гибли на штыках. Ядра пожинали беглецов в поле. Бой примолк, но еще белое знамя раздувалось на куполе; несколько отчаянных защищали узкую лесенку в стене часовни, но мы видели, как один солдат пробился наверх, как он заколол последнего врага, сбросил его вниз и сорвал знамя. Мы, как гомеровские троянцы, рукоплескали со стен победителям.

Но скучно было бы, друзья мои, волочить вас по всем вылазкам и день за днем описывать происшествия блокады. Скажу только, что 24 числа неприятель, руководимый терхеменскими знахарями местностей, отвел воду, отчего только два самородка остались в целом городе; что несколько раз осаждающие густыми толпами стремились к стенам и, отраженные, ограничивались одной перестрелкой. Гарнизон был неутомим и неусыпен. Усталые от пальбы днем, солдаты поправляли ночью стены, насыпали брустверы, устраивали траверзы, начальники подавали собою пример отваги и деятельности. Мусульмане соревновали русским. Между тем мятежники, привлеченные жаждой добычи, за недостатком ее вымещали свою досаду разрушением. Все, что могло гибнуть от огня и железа, – гибло. Винные заводы, загородные домики пылали. Фруктовые деревья падали под топором, виноградники посекались или исторгались с корнем. Сам Кази-мулла обрекал места на истребление. Пленники рассказывали про него тьму чудес: как он летает после намаза в Мекку на бурке своей; как он с одним нукером невидимкою подходил к стенам Дербента и от него разбежалась куча людей. «Он непременно возьмет ваш город, – говорили они. – Не далее как сего дня поутру он ездил молиться на море, и Аллах велел ему подождать еще три дня приступом, за наши грехи, а потом наверно отдаст нам победу». Таковую-то теплую веру успел вселить Кази-мулла к своей святости! Дельного из

подобных рассказов извлекли мы очень немного. Кази-мулла среднего роста, некрасив, по лицу рябинки, борода редкая, глаза серые, но светлы и проницательны. Говорит мало, но выразительно; угрюм, много пишет и часто молится. В битве не участвует мечом, но ободряет своих мужеством и увещаниями. К себе не допускает никого близко и никогда ночью. Если приближается к нему какой бы ни было пришлец, двое стражей держат ружья на взводе и многие сабли наголо готовы изрубить в куски всякого по малейшему мановению вождя, – маневр, который господин Кази-Мугаммед нередко изволит проделывать, к немалому назиданию и удовольствию горской публики. Кажется, действуя убеждениями на умы легковверные, он не презирает и суеверными средствами. Вообразите, какую шутку хотел было он выкинуть во время осады. В садах попались ему в плен несколько мальчиков, которые тайком ульнули за виноградом. Он приласкал из них некоторых, дал им прокламации к жителям, коих приглашал соединиться с мусульманами, его последователями, на истребление гяуров, и отослал в город. Эти листы велел он им потихоньку рассовать по карманам взрослых дербентцев в то время, когда народ толпится ввечеру у фонтана за водою, чтобы суеверные подумали: «Сам Мугаммед положил мне в карман это послание!» Вопреки его желанию, чудо не сбылось. Ребята рассказали наказ Кази-муллы родственникам, те донесли коменданту, и дело разгласилось. Этого мало: в пятый день осады, к ночи, подъехал к воротам один всадник со связанными руками. Узнали в нем дербентского жителя, ездившего в Кубу. Он уверял, что Кази-мулла не велел его грабить и послал в Дербент; но полное на нем вооружение и много денег в карманах дали подозрение. Давай обыскивать пристальнее, и находят в Коране множество ярлыков с печатью Кази-муллы. Потянули к допросу; он сбился, смешался и наконец признался, что эти ярлыки даны ему для вручения тем, кто бы согласился действовать заодно с осаждающими. Они бы служили пропуском сквозь войско Кази-муллы и охраною в случае грабежа. К счастью, таких злонамеренных людей, по крайней мере явно, не оказалось. Но жители верили, что они есть, что они готовят измену. Прошло пять, прошло шесть дней, а ниоткуда ни весточки. Комендант, для ободрения духа горожан, не раз распускал слухи, что идет то отряд Миклашевского, то отряд генерала Коханова; но это действовало ненадолго. Меня очень любят татары за то, что я не чуждаюсь их обычаев, говорю их языком, и потому каждый раз, когда я выходил на стены подразнить и побранить врагов, прогуливаясь с трубкою в зубах, куча дербентцев окружала меня... Я всегда приносил им полные карманы кремней и патронов и еще втрое более новостей; городишь им туры на колесах, и они спокойны на несколько часов, а там опять новые рассказы и новые надежды. И то и другое стало, однако ж, иссякать по прошествии недели. В городе было мало хлеба и нисколько сена; рогатый скот начал падать; кони голодали; жители утомлялись бесменною стражею, а известия, что Кази-мулла готовит лестницы и фашины к скорому приступу, стали несомненны. Поговаривали, будто в темные ночи осаждающие в некоторых местах подползли к подошве стен, сделали несколько лазеек в город, если не для нападения, то для сообщения с единомышленниками, в числе коих обвиняли суннитов. Надобно было увериться в этом осмотром. Я просился произвести его, спустившись по веревке за стену, под выстрелами неприятельскими. Наутро 27 августа должен я был совершить свое опасное путешествие, но рассвет оказал бегство Кази-муллы и всего его войска. «*Качты, качты* (Бежал)!» – раздавалось со стен. Коня, коня! Я вспрыгнул в седло и выскакал в едва растворенные ворота. Сладко подышать вольным воздухом, радостно порыскать по полю после невольного затворничества. Пускаю коня во всю прыть на гору. Костры гаснут во вражеских завалах. Здесь недавняя кровь, там свежие могилы, кости пиршества на пепле пожара, потерянные чурки по дороге, разбросанные мешки, изломанные арбы, подбитые кони, усталые быки и быстрые следы горских башмаков на прахе – вот все, что осталось от многочисленных полчищ смелого Кази-муллы. Он исчез, как ветер. Я заскакал далеко в гору целиком. Оглядываюсь – за мной и в виду ни души, а тут каждый куст, каждый камень мог скрывать врага. Возвращаюсь... прислушиваюсь... что

это, не гром ли? Нет, это вестовые выстрелы в отряде генерала Коханова. Слава Богу! Осада кончена.

Поход в Дагестан генерал-адъютанта Панкратьева в 1831 году

Лагерь близ селения Джимикент, 15 октября 1831.

Между тем как избавленные от осады дербентцы топили печки штурмовыми лестницами и фашинами, готовленными Кази-муллою для приступа, беглец Кази-мулла отправился, словно победитель, праздновать свою свадьбу с Кюрек, с дочерью своего наставника, муллы Мугаммеда. Не слишком, видно, надеясь на гурий зеленого цвета в раю правоверных, он взял в задаток будущего блаженства краснощекую горянку, – но ни жирный плов пиршества, ни свежие ласки молодой супруги не утомили деятельности изувера. Каждый день, под предлогом шариа, то есть толкования Корана, проповедовал он ненависть к русским и независимость от всех властей. Воззвания его, исполненные блестящих парадоксов, летели как искры во все стороны и зажигали соломенные умы горцев. В это время мы стояли под стенами Дербента и, как водится, от безделья досадовали на бездействие.

Ничего нет забавнее урядов и пересудов нашей братии подчиненных. Всё бы мы стояли там, где сытно да весело; всё бы ходили, когда в небе тишь, а на земле гладь. Если же дойдет дело до военных распоряжений, то сам Наполеон не годился бы перед нами в барабанщики. Тут бы сделать так, там этак!.. К счастью русского оружия, от нас требуют только повиновения, а не советов, и удачный конец дает делу венец. То же самое было и теперь.

Генерал-адъютант Панкратьев, оставшись по отбытии графа Паскевича-Эриванского командующим войсками за Кавказом, заблаговременно сосредоточил значительный отряд под Шамахою для укрощения мятежа в Дагестане; но шаткая политика персидская и распространение слухов о вторжении персиян в наши пределы препятствовали удалиться от оных войска. Когда ж на бумаге и на деле он удостоверился в миролюбии персидского правительства, войска от Шамахи двинуты были в Дагестан и к концу сентября соединились с отрядом генерала Коханова. Вот состав этого соединенного отряда: два батальона Эриванского карабинерного; шесть рот Куринского, два батальона Апшеронского и два батальона 42-го егерского полков, при девятнадцати орудиях и четырех горных единорогах. Конница состояла из донского казачьего Басова полка, из трех полков конно-мусульманских и одного конно-волонтерного, да сотни две куринской и бакинской конницы; всего пехоты около 3500 человек, а кавалерии до 3000. Наконец мы ожили. Муж боя и совета прибыл в Дербент 30 сентября. Добрая слава задолго предлетела ему в Дагестан. Его приезд ободрил новых подчиненных надеждою, а прежних сослуживцев уверенностью в успехе. Солдаты зашевелились, и, несмотря на слякоть, кружки около огней росли. «Когда же? скоро ли в дело?» – слышалось повсюду; но болезнь держала вождя нашего на ложе, а ненастье – отряд на месте. Между тем командующий войсками не терял времени. Не щадя себя на пользу отечества, он, борясь с болезнью, неутомимо занимался делами края и, прежде чем прибегнуть к трехгранным доказательствам, пытал все средства убеждения, – а он владеет им в совершенстве. Прокламации его, написанные цветистым слоном Востока, рассеивались в ущелья, где таились мятежники. Глядим: мало-помалу старшины окружных селений потянулись в Дербент с повинною и жители сползались из нор на прежние пепелища. Скоро вся Теркемень закипела народом, и отряд перестал нуждаться продовольствием. Ласковые сношения с Нуцал-ханом Аварским и его матерью Паху-Бехи обеспечили фланг наш. Они обязались на границах своих выставить войско и не впускать в Аварию мятежников. В тиши и в тайне готовились важные события.

И вот, на ночь 2 октября, вовсе неожиданно упали палки на барабан... Зовут фельдфебелей к адъютантам: приказ выступить налегке. Куда? зачем? – никто не знает, не ведает. Но тайное тогда – теперь уж не тайна. Командующий нами сделал мастерское распоряжение. Зная,

что табасаранцы решились защищаться до крайности и готовы собраться в один миг в то место, куда направлено будет нападение, он разделил войско на три отряда, чтобы развлечь их силы, обманув их ожидания. Полковник Басов должен был сделать диверсию вправо на Маджалис; полковник князь Дадиан – влево в Кучни; главный, то есть средний, отряд, назначенный действовать прямо от Великента на Дюбек, поручен был храброму полковнику Миклашевскому, и с ним-то в одиннадцать часов мы двинулись вперед, с двумя батальонами его полка, 42-го егерей, 1-м Куринского, с 1-м и 2-м конно-мусульманскими полками, при четырех орудиях.

Ночь была темна, как судейская совесть. Скупое небо погасило все огоньки свои. Мы брели по колено в грязи, цепляясь за терновники, запутавшие окрестный лес непроницаемою оградой, и каждый миг в опасности слететь в речку Дарбах, по крутому берегу которой шли. Вы бы сказали, что идет армия мертвецов, покинувших свои могилы, – так безмолвно, так неслышимо двинулись мы вперед по излучистому яру, в двойном мраке ночи и тени леса, под нами склепом склоненного. Колеса не стучали, подковы не брякали по болоту; нигде ни голоса, ни искры. Лишь изредка раздавался по бору удар бича или звук пушечной цепи. С невероятным трудом вытаскивали мы на людях орудия... Наконец не только под ними, но и под артельными повозками кони пристали, выбились из сил... Арьергард оттянулся... Полковник Миклашевский налетел соколом: «Руби колеса, жги повозки, жги артиллерийские дроги! Стоит ли эта дрянь, чтобы из-за нее опаздывать! Истребляй: я за все отвечаю!» Велено – сделано. В пять минут дорога была чиста, – вещи разобрали по рукам... коней пристегнули под пушки; прибавили к ним и офицерских верховых... Покатились, пошли быстро, легко, весело. Миклашевского слово ободряло солдат лучше двойной чарки. С неимоверною скоростью перелетели мы тридцать пять верст, и часу в девятом утра послышали впереди жаркую перестрелку: это дралась наша татарская конница. Шомпола зазвучали. Гренадеры!.. ходу!.. Скорым шагом, беглым шагом!.. Выстрелы из лесу начинают нас пронизывать – насилу-то догадались. Если б неприятели заранее заняли чащу, многие бы из нас не донесли своих голов до Дюбека, – да вот и он – легок на помине... вот Дюбек, который считается неприступною твердынею Табасарани. «Неприступная» – забавное выражение! Его нет, слава Богу, в словаре русского солдата. Вперед, вперед!.. Дело загорелось. Селение Дюбек стоит в развале ущелья на скате большой горы. Над ним на полтора пушечных выстрела лепится выше деревня Хустыль. Речка Дарбах, извиваясь в крутом, но широком русле, образует перед Дюбеком колено. Правый ее берег против селения от множества ключей, не имеющих истока, затоплен вязким болотом; дремучий лес обнимает всю окрестность. Егеря 42-го полка пошли вправо чрез топь, мы – влево чрез крутой овраг, на дне которого текущий ручей, впадая в Дарбах, образует перед Дюбеком букву «v», – все под убийственным огнем из лесу, из домов, из завалов. Перед нами еще ходили на приступ наши спешенные мусульмане; но когда Мамат-ага, бесстрашный помощник полкового командира, был убит, когда они потеряли лучших стрелков своих, куринцы их опередили – слезли в овраг, стали подниматься на противоположную круть... густей, густей гранаты полетели над нашими застрельщиками... Ура, штыки! А уж дело решенное, что против русского штыка ничто устоять не может; завалы были отбиты, неприятель стоптан, но, ожесточенный поражением, засел в домах, стрелялся, резался; ему было жаль богатых пожитков, свезенных в Дюбек из всех окрестных возмущившихся деревень, как в твердыню, которой не мог взять и сам ужасный шах Надир, куда не проникал даже Ермолов, которого слава ярче Искендеровой и шах-Надировой за Кавказом. Пришлось штурмовать камень за камнем, шаг за шагом. Кровь лилась – огонь очищал от ней землю. Наконец, после шестичасовой битвы, вся деревня впадала в руки наши; но из лесу, из-за плетней, из-за плит кладбища враги не переставали стрелять в победителей, и лишь картечь присмирляла их на время. Грабеж и пожар, как два ангела-истребителя, протекали Дюбек из конца в конец... Ночь пала.

Чудно прелестен был вид этой ночи. Пламя катилось волнами и змеем пробивалось сквозь высокие кровли домов, большею частью двухъярусных... Вся гора была озарена, и по

ней вверху видны были лица, слышны крики женщин, ожидавших приступа к Хустылю. Между дымом и огнем чернелись остеклевшие развалины, – и из этого-то ада солдаты и мусульманские всадники тащили, везли добычу, заслуженную кровью, выносили раненых. Поодаль несколько человек рыли общую могилу павшим своим товарищам. Коротка солдатская молитва и за свою жизнь и за душу земляка!! Ни одной слезы, ни одного слова не уронил никто по убитым; но зато как выразительны были лица окружающих в зареве пожара, то прислоненные к штыкам, то поднятые к небу!.. Все кинули по горсти земли, чужой земли, на-очи собратий... «*Sit uobis terra levis* (да будет легка над вами земля)», – сказал я про себя. Каждый из вас лег как усталый часовой по смене... Когда же настанет и моя смена? Повременные выстрелы гремели requiem⁴⁷.

С убитыми и ранеными потеряли мы в этом деле четырех офицеров и до девяноста нижних чинов, включая в то число и мусульман, дравшихся отлично, особенно полка князя Баратова, которому досталось обскакать Дюбек слева по лесу. Лошадей легло более шестидесяти.

Деревня стала потухать. Развалины, углясь, дымили. Тогда полковник Миклашевский приказал развести огромные костры перед отдохавшим на поле строем по эту сторону Дарбаха... И вдруг без боя, без шума, снялись мы, послав наперед татарскую конницу. Кони их гнулись и кряхтели под тяжестью добычи. Повозки были нагружены ею донельзя. Солдаты были утомлены и боем, и походом, и бессонницею... но шли скоро, весело, – победа оперяет хоть кого, притом каждый чувствовал, что если неприятель станет напирать на нас в теснине, где каждый куст, каждый пенек ему стена, потеря будет значительна. Но, к счастью, дюбекцы, ожидавшие, что мы наутро пойдем штурмовать верхнюю деревню, были обмануты и поздно спохватились нас преследовать. Мы с легкой перепалкой прошли дифилею и наутро очутились опять в своем лагере под Великентом, совершив в тридцать пять часов два перехода и битву. Это чисто по-орлиному: налетел, ударил, схватил, исчез.

То-то пошел пир горой по возврате! Солдаты валяются на цветных коврах, продают дорогие конские сбруи, золотые женские уборы, оружие, блестящее серебром и насечкою; покупателей наехало видимо-невидимо. Песни, веселье – гуляй, душа! Все не нахвалятся Миклашевским; и точно за дело. Без его решительности и быстроты, без его храбрости, не знающей зарока, благоразумный план генерала Панкратьева мог остаться напрасен. Он знал, кому доверить важнейшее дело, – Миклашевский умел оправдать это доверие.

В это самое время полковник Басов с казачьим своим полком, с двумя батальонами апшеронцев и двумя ротами куринцев при шести орудиях выступил на селение Маджалис, чтобы помешать каракайтахцам подать руку помощи вольной Табасарани. Перед селением на угорье он встречен был выстрелами, но от быстрого натиска неготовый к нападению неприятель бежал, и старшины Маджалиса вышли просить пощады, представляя доказательства, что стреляли не они, а башлинцы. Между тем полковник Басов, слышажаркую пальбу под Дюбеком, решил идти туда прямо чрез гору, чтобы в случае надобности усилить отряд Миклашевского; но, вышедши на дюбекскую дорогу, он застал только зарево пожара и возвратный след наш. Подвиг был окончен.

С своей стороны полковник князь Дадьян, с двумя батальонами Эриванского карабинерного, четырьмя орудиями и пятью горными единорогами, да с 3-м и волонтерным конно-мусульманскими полками, врезался в непроходимые доселе ущелья Табасарани. По стремнинам, по дебрям, по которым от века не слышался скрип колеса, проходил он с пушками, сражаясь на каждом шагу, поражая на каждой встрече. Двенадцать деревень легло пеплом на след русских; из них в важнейших, Кучни и Гюммеди (гнездо изменника Абдурзах-кадия), захвачена была значительная добыча и много пленных. 8 октября все эти экспедиции были кончены. 11-го тронулись мы далее, к <селению> Башлам. Уж давным-давно грызем мы зубы на это многомятежное скопище. Говорят, что башлинцы очень храбры и отличные стрелки, – тем

⁴⁷ музыкальное произведение траурного характера для хора и оркестра (лат.).

лучше; я уж дал солдатам задатку за башлинскую винтовку. Теперь мы стоим под с<елением> Джимикентом. Дождь ливмя; над головой облака словно грецкая губка, а под нами земля будто растаяла... еще хуже: она превратилась в грязь, в эту пятую стихию, открытую Наполеоном в Литве. Палатки наши плавают, как стада чаек по болоту. Журавли перекликаются ночью с часовыми; лягушки квакают кругом. Холод, сырость, слякоть! Дрова не горят, огонь не греет; лежишь кренделем, боясь приткнуться носом к полотну, чтобы вода не пролилась потоком, а к довершению забав полевые мыши, на которых, видно, за грехи наслан потоп, спасаются на бурке моей от мокрой смерти, так что карманы мои обратились в невольные мышеловки. Прощайте до первого красного дня, друзья мои! Под такую погоду разве-разве можно писать статью «Об удовольствиях походной жизни»!

Лагерь при с<елении> Темир-Хан-Шура, 25 окт<ября> 1831.

Видали ль вы когда-нибудь войско на привале? Это очень живописно, особенно как теперь, глубокою осенью. Между рядами в козлы составленных ружей лежат кружками и кучами солдаты; кто спит, прикорнув над телячьим ранцем, кто размачивает в манерке сухарь. Иные, набрав хвороста или бурьяна, заботливо раздувают минутные огоньки, и уже наверно подле каждого явится какой-нибудь шутник-рассказчик, от прибауток которого вся рота привыкла смеяться за полверсты. Офицеры завтракают у начальников или у того из товарищей, кто позаживнее. Казаки, воткнув в землю пики, отдыхают в стороне. Пестрые толпы азиатских всадников снуют взад и вперед, – им не посидится на месте. Кони обоза, сдвинутого вместе, кушают в упряжи сенцо, подброшенное им расчетливою рукою. Удивиться можно, как огромны обозы в Кавказском корпусе; идет, скрипит, тянется – и конца не видать! Но когда узнаешь, что закавказские полки кочуют из края в край всю свою службу и потому в необходимости таскать все свое хозяйство с собою, что они ходят в неприязненной земле, лишенной всех средств продовольствия, не только удобств жизни, что нередко они принуждены возить с собою даже дрова для топки, – то убеждение заступает место удивления. И вот палки звучат по барабану – все зашевелилось: кони ржут, прядут ушами, фурмана суетятся около повозок, канонеры укладывают вьюки на орудия. По возам! По возам! Солдаты строятся, денщики подтягивают подпруги... Даже курочки и петушки, послушные дисциплине, бегут к своим вьюкам и, клокча, взбираются на беспокойный нашест, где они учатся верховой езде и проделывают эквилибристические штуки, привязанные за одну лапку. Новый бой – это подъем. На плечо! Справа отделениями – марш! Пошли, тронулись, барабан рассыпается частой дробью, идем... Но куда идем? Быть не может, чтобы в Башлы. Башлинские старшины приезжали с повинною головою, а повинную голову и меч не сечет. Генерал Панкратьев, зная, как важна пощада в пору, помиловал покорных именем государя императора, – где краше имя царское, как не в помиловании. Округи Башлы и Кубечи и весь Кара-Кайтах дали вновь присягу на верность. Сильное общество акушинское тоже. Раскаявшимся табасаранцам даровано помилование, с условием, чтобы они изгнали от себя изменника Абдурзах-кадия, избрав на его место другого.

После перуна кары, грянувшего в сердце гор, блеснула горцам и радуга надежды на прощение. Это благоразумная политика командующего нами, – кстати погрозить, кстати приласкать, чтобы не ожесточить заблужденных, – имела самые выгодные следствия для русских, самые благодетельные для покорившихся. Но впереди мятежные владения шамхальские не внимали еще ни грозе, ни милости, и мятежники готовились отразить силу силою; их-то развеять двинулись мы, и 22 октября стали лагерем за Темир-Хан-Шурою. Решено. Завтра пойдем в дело, штурмовать с<еление> Эрпили, заслоненное оврагами и крутизнами, защищенное десятью тысячами горцев, которые ждут нас с крепкими завалами и засеками. Мятежниками повелевает Уммалат-бей – храбрый сподвижник Кази-муллы, который произвел его в шамхалы. Уж спрыснем мы по-молодецки этого самозванца. В ожидании будущих благ мы прохрапели ночь во славу Божию, и зоревые рожки едва меня добудились.

Поздно рассвело над Шурой осеннее утро. Непроницаемый туман тяготел на всей окрестности, и в нем глухо гремели барабаны. Войска пошли тремя колоннами. В голове первой, назначенной обойти Эрпили справа по каранайской дороге, неслись Басова казаки, бакинская и куринская конница, два батальона егерей 42-го полка и семь рот Эриванского карабинерного при восьми орудиях. Колонну эту вел полковник Миклашевский. Вторую командовал генерал-майор Коханов; она состояла из двух батальонов Апшеронского и одного батальона Куринского при семи орудиях; за нею следовал резерв из трех конно-мусульманских полков под командою генерал-майора Калбалай-хана. Все тяжести оставлены были в лагерях под прикрытием двух рот куринцев с шестью орудиями и двумя сотнями всадников. Мы шли полем сквозь густой туман: в самом близком расстоянии невозможно было различить предметов; но благодаря верной карте и зоркому глазу г. Панкратьева отряд двигался вперед, не уклоняясь ни шагу от данного направления. Вы бы сказали – это корабль, рассекающий волны и туманы по мановению опытного кормщика. Вот раздалась команда влево, и полки, каждый особою колонною, равняясь головами, вытянули строй с большими промежутками. По обыкновению, я был в стрелках, раскинутых впереди. Иногда повеяв ветра разряжал туман, и тогда соседние колонны чернелись и ружья мерцали на минуту; потом все задерживалось непроницаемою завесою. Сардарь⁴⁸ наш носился между нас на лихом коне, окруженный штабом своим... Турецкая *gâyga* (конница), ширванские и дагестанские беки, линейные и донские казаки скакали следом пестрою толпою. Поезд его являлся и исчезал, подобно радуге среди тучи, готовой уже ринуть молнию. Близка, близка встреча; заряжай ружья! Ветер как нарочно пахнул сильнее, туман приподнял махровые полы своей мантии, и впереди нас открылся слева крутой овраг, за которым вздымалась лесистая гора, прямо – длинный бугор, вооруженный засеками из деревьев и копаными завалами. Далее по холмам колебалось что-то, как редкий лес от ветра. «Это деревья», – говорили одни. «Это всадники», – утверждали другие. Гранаты решили спор наш. Грохот пошел по горам, когда заговорила батарея, выскакавшая вперед... В самом деле, то была конница. Она слилась, взвилась – и след простыл. Куда не жалуют азиатцы гранат! В это время наши мусульманские удалыцы стали доезжать до самых завалов. Тах-тах... вся их линия расцветилась пальбою, и справа егеря с эриванцами пошли на них без выстрела в штыки. Полковник Миклашевский на белом коне вздымался в гору впереди обеих колонн, – шинель играла на нем по ветру... Ура! ура! Апшеронские стрелки тогда же бесстрашно кинулись через овраг... Левее их забирали в гору Басова казаки. Мы подбежали на полвыстрела под середину, – но стали, ожидая приказания. Пальба закипела... беглый огонь мелькал сквозь пары, как фейерверк. Крики угроз с обеих сторон, бой барабанов, стон земли от пушечных выстрелов, отражаемых отголосками хребта, – ну право, сердце не нарадовалось! Гранаты, прерывая туман, гремели, будто катаясь по ступеням, свист пуль производил эффект чудесный; могу вас уверить, что эта fuga стоила всех чертовских нот из «Фрейшица».

Я большой охотник наблюдать, какое действие, какое впечатление производит на солдат опасность. Любопытно пробежать тогда по фронту, взглядываясь в глаза и лица. На этот раз я не заметил, однако ж, ни очень долгих, ни очень бледных. В молодых солдатах виделось более любопытства, чем беспокойства. Иные, правда, слишком заботливо осматривали кремни свои, иные даже кланялись пулям, которые жужжали мимо как шмели, – но над такими смеялись. «Видно, знакомая пролетела?», «Эй ты, саратовец... что ты словно перед попом раскланялся? Что бережешь свою шапку? Батюшка царь богат, другую даст! Лови, лови за хвостик!» и тому подобные остроты слышались по цепи. Сколько мне удалось заметить, так самые храбрые в деле бывают или рекруты, или старые солдаты. Первые потому, что не понимают опасности, другие потому, что с ней свыклись... Средине ни то ни се. Но все русские солдаты, хоть и не слишком богомольны, зато в душе набожны. «Крестись, крестись, ребята!» – говорили они,

⁴⁸ Сардарь – по-персидски *главнокомандующий*. Запросто мы всегда употребляем это слово: оно просто и звучно.

когда мы подвинулись ближе под выстрелы, – и все крестились, и всякий взглянул на север, вздумал о родных своих. Только подле меня один старый солдат, прокопченный порохом, для которого кровь и вино стали равно обыкновенными вещами, не крестился; он был очень шутилив и весел, в зубах его курилась коротенькая трубка. «Вот еще креститься!.. – ворчал он, поправляя одною рукою табак, а в другой держа ружье наперевесе. – У меня руки заняты!» Все с негодованием взглянули на вольнодумца; не прошли пяти шагов – он падает на землю убитый. «По делам покарал Бог!» – шептали товарищи. Ура! Вперед!.. Нам досталось бежать по мокрому скату, изрытому стадом диких кабанов. Иной бы подумал – это пахоть; ноги уходили вглубь, клейкая грязь лепилась на них по полпуду, но это был миг. Уж под завалами – и все еще не видим врагов, так густ туман; наконец сошлись в упор... дуло в грудь, штыки в спину, прядаем на завалы, продираемся сквозь засеки, и неприятель бежит, оставляя трупы, кровь и плен по следу. Счастье наше, что пары мешали мятежникам цельно бить в нас с такого выгодного места. Счастье их, что пары препятствовали нам их преследовать; они рассеялись, разбежались по камням, по кустарникам, по оврагам. Дело решилось в два часа. Обойдены справа и слева по крутизнам, которые считали они неприступными, поражены в центре, который мечтали неодолимым по тройной ограде укреплений, враги отхлынули, скрылись со стыдом, оставя более ста пятидесяти тел на месте. Славный распорядок битвою г. Панкратьева и быстрота, с которою он исполнен, были причиною, что потеря наша ничтожна: ранено двое офицеров (один из них смертельно), нижних чинов убито и ранено сорок, лошадей легло пятьдесят одна.

Пользуясь изумлением неприятеля, г. Панкратьев послал по большой эрпилинской дороге 3-й мусульманский полк и 1-й батальон апшеронцев с двумя орудиями, чтобы занять деревню. Сгоряча не чувствуя усталости, пробежали мы верст семь с горы на гору, по овражистому берегу реки, по которому пролегает дорога. Изредка свистали пули, пущенные из противоположного леса, и наконец Эрпили открылись нам длинною чертою. Пройти в них должно было через утлый мостик и потом через узкую гать мельницы... Это было дело одной минуты... В три натиска штыками Эрпили стали чисты. Басова казаки подоспели слева, егеря втеснились туда справа вместе с роями мусульманских всадников полков 2-го и волонтерного, командуемого гв<ардии> капитаном Юферовым, адъютантом г. Панкратьева. Сам командующий войсками, вливая мужество в своих подчиненных, с первыми был уже в Эрпилях. Барабаны гремят, знамена веют, будто крылья победы. «Слава, слава оружию *Николая!* Хвала и честь вождям его!» Еще перепалка играла по лесу, прилежащему к деревне, а дело грабежа и разрушения уже началось. Добыча в вещах, в деньгах, в рогатом скоте была огромна. Мятежники всех окрестных деревень свезли и, так сказать, согнали туда все свое имущество, надеясь на твердыню местоположения и еще более на множество, на отвагу защитников эрпилинских, – они горько ошиблись. Солдаты, татары, турки вытаскивали ковры, *паласы* (тонкий, особый род ковров), вонзали штыки в землю и в стены, ища кладов, рыли, добывали, находили их, выносили серебро, украшения, богатые кольчуги, бросали одно для другого, ловили скот, били, кололи засевших в саклях мятежников. Один лезгин, видя беду, решился было дать стрелка и как тут навернулся на кучу солдат. Окруженный ими, он хотел спастись хитростью, уверяя, что он послан к сардарю с письмом. Я видел издали, как бедняга выворачивал карман за карманом, рылся за пазухою – нет как нет бумаги! «Что с ним толковать!» – закричали вышедшие из терпения солдаты и подняли его на штыки.

Густела ночь, когда мы начали отступать. Г. Панкратьев не велел предавать Эрпилей пламени, по просьбе шамхала, предвидя, что эта милость обратит эрпилинцев на сторону русских, – и не ошибся.

Огромные костры пылают до сих пор в лагере, и все, что имеет две руки, варит и жарит, – правда, и есть из чего: более десяти тысяч голов рогатого скота досталось победителям. Медом и маслом хоть пруд пруди... ветер взвывает муку вместо пыли. Вот тут-то подивитесь вы вместимости или тягучести русского желудка! С ночи до утра, с зари до вечера солдаты не отхо-

дят от котлов... спят подле. Каждый впросонках запускает лапу в котел, вытаскивает кусок и дремлет над ним с сладкою улыбкой.

Живописный беспорядком и разнообразием шатров стан конницы превратился в базар и в толкучий рынок. Татары, казаки, солдаты валяются на узорчатых коврах, наваленных кучами, носят, продают, меняют богатое оружие, женские платья, парчи, попоны. Медная посуда, звуча, катается по мерзлой земле. Дорогое идет за бесценок, тяжелое отдают чуть не даром... Но толпы продавцов всего более теснятся около духанщиков, то есть маркитантов, – потому что порой чарка солдату дороже алмаза. О, вы еще не знаете, какую важную роль играет духан за Кавказом! Я вам особым письмом опишу ее, друзья мои; это будет что-то вроде... между Теньером и Измайловым.

Лагерь под селением Галембек-аулом, 28 окт(ября) 1831.

Отдыхаю. Быстрее, чем взор, пробегающий по следам пера моего, свершили мы новую победу вслед достойного нашего вождя! Зато и разбит я от трудов, будто меня ковали молотом, а душу от дождя хоть выжми. Впрочем, воспоминание о чиркейском деле освежает, греет каждого в нашем отряде, и я посылаю этот рассказ вам в гостинец – пишу себе на удовольствие.

Эрпилинская победа навела ужас на окрестных горцев, – надо было пользоваться таким впечатлением русского оружия, и 25 октября командующий войсками двинул отряд⁴⁹ к местечку Чиркею, лежащему за Сулаком. Сведая из рассказов, что на Сулаке есть деревянный мост перед самым селением, сардарь решился захватить его врасплох и для того опередил нас с одною татарскою конницею и четырьмя орудиями. *Чан-чан*, то есть марш-марш, – и соколами перелетели тридцать верст, разделяющих Сулак от лагеря. Чиркейцы, однако ж, были настояще – разъезды их скитались повсюду, и военачальника нашего встретили враги за версту, со всеми почестями, не жалея ни свинцу, ни пороха. Рассыпав спешенных татар, напрасно хотел он заманить их в перестрелку и отрезать от берега – чиркейцы не дались в западню. Засев в каменные завалы вдоль здешнего берега, они в числе пятисот открыли злой огонь по наступающим, но мусульмане наши, предводимые бесстрашным Нусал-агою, сыном хана Казикумыкского, который, выхватив знамя из рук падающего своего *бей-дахдара* (знаменщика), пошел на завалы, выбили их вон. Аскер-Али-бек и командующие мусульманскими полками, майор Мещеряков и гвардии штабс-капитан Юферов, втоптали неприятеля в ущелье, по которому вилась дорога к Чиркею. Гвардии капитан Всеволожский, адъютант командующего, посланный им для ободрения стрелков наших, отличился особенною храбростью, кидаясь с ними неоднократно на завалы. Нусал-ага и Ибрагим-бек Карцахский, посекая бегущих, подскакали к самому мосту под градом пуль, – но мост уже был полуразобран; и как разрушение его было готово заранее, то в несколько минут остальные мостницы были сорваны, и чиркейцы, покровительствуемые перекрестным огнем из завалов, начали рубить переклады. Отвага стала бесполезна, – наши отступили в отбитые завалы.

В это время подоспела артиллерия, и две пушки с правого холма, два единорога против селения пробудили громовое эхо Кавказа, посылая смерть и разрушение. Неумолкающая перестрелка кипела с обеих сторон Сулака. Пули перелетали через голову сардаря и ложились у ног его. Удальцы, одушевленные его словом, не раз пытались завладеть предместьем и перебежать на другую сторону по перекладам, – но человек не птица: невозможное осталось невозможным.

Издали послышались мы перекаты пушечной пальбы и ускорили ход. Мы подымались в гору по теснине, по дороге, изрытой дождевыми потоками. Всадник за всадником неслись к нам навстречу! Скорей, скорей, сдвой шаг! Почти бежим, пот градом, – и вот поднялись на хребет, заслонявший нам вид Чиркея. Глядим – это очарование! Покуда пушки наши вздыма-

⁴⁹ Оный состоял из 2500 человек пехоты и 1500 кавалерии, при двенадцати орудиях. Вагенбург остался под селением Кяфир-Кумыком, прикрытый батальоном апшеронцев, двумя ротами курипцев и одиннадцатью орудиями.

лись по крутизне на канатах, я не мог отвести очей от картины, которая гигантскою панорамною окладывалась кругом меня. Влево чернел хребет Салатав, разрубленный Сулаком надвое. Прорыв сей, отвесный сверху донизу, обращался далее к югу, и западающее солнце, золотя северную стену его, одевало глубокою тенью наш берег; огневые облака тихо катились по гребню Салатава и будто падали в расселину, померкали, гасли. Левый берег Сулака вздымался крутою горою, подернутою мрачным кустарником. По ней робко теснились бесчисленные стада баранов, которых смушками славен и богат Чиркей издавна. Прямо перед очами, в обрывистой, мрачной впадине, селение Чиркей сходило с крутизны красивыми уступами, расширяясь кверху. С правой стороны его, будто на опрокинутой чаше, восходила до туч огромная скала усеченным конусом; волнистые хребты тянулись друг над другом с обеих сторон. Русло Сулака терялось между их случайностями, – самой реки не было видно за крутизнами. Как дика, и величава, и грозна являлась там природа, но еще грозней стала она от вражды человека! Вся гора курилась дымом пороха, подобно волкану; отовсюду мелькали убийственные выстрелы, и повременно сверкал перун орудий, заглушая ревом своим перестрелку. Какое чудное эхо отвечало ему из глубины ущелий, – казалось, то были отрывистые вздохи раненого исполина, и потом оно рассыпалось, грохоча, будто скала, разбитая вдребезги. Горцы перекликались дикими воплями, и только изредка показывались над завалами их шапки и винтовки. Сталь русских штыков, медь русских пушек горела пурпуром заката. Мы строились на горе, готовые хлынуть к берегу. Впереди на высоком холме рисовалась живописная купа всадников, – то был командующий наш со своею свитою... гонцы скакали от него и к нему; очи всех были устремлены на его мановение... Он дал его.

Приветный клич: «Куринцы, вперед! Стрелки, вперед!» – вызвал меня из созерцания картины, которою любовался я – не скажу как художник, не скажу как поэт (перо и кисть мне плохо даются и удаются), по крайней мере более, нежели как солдат. Бегом спустились мы с горы, окаченные пулями из пятирядных завалов, высеченных, сложенных в камне один над другим и сосредоточенных против дороги. Крутой овраг пересекал эту дорогу; через него брошен был мостик, гибельный для многих, – то был настоящий мост эль-Сырат, острый, как сабля, висящий над бездною Мугаммедова ада. Казалось, мимо ушей неслась саранча, – так часто сыпались пули. Некогда было оглядываться на раненых; они летели вниз, когда мы бежали вперед. И вот мимо, через груды побитых коней наших всадников, мы вбегаем в завалы.

– Селам алейкюм, Нусал-ага: Алла сахласын, Ибрагм-бек!

– *Хош гялун, хош гяльдун, хош* (Милости просим)!

Они сидят под своими знаменами, уже истрелянными, окровавленными.

– Ну, что нового? что хорошего?

– Чиркейцы изломали мост, остались только переклады.

– Прощайте же: теперь наша очередь попытать счастья, – вперед, ребята!

Мы перебегаем вдоль завалов и спускаемся в теснину, по дну которой вьется узкая тропа и у подошвы скалы, круто поворота влево, идет, или, лучше сказать, висит, над Сулаком, на пушечный выстрел от противоположного берега. Чиркейцы очень хорошо знали важность этой точки и не дали нам показать носа из ущелины: каждый, кто только ставил вперед ногу, был ранен. Полковник Гофман вслед за нами привел батальон своего полка, – лошадь под ним была убита, шинель прострелена. Немного погодя, пришло человек двести охотников Эриванского карабинерного, но все, видя физическую невозможность до ночи приблизиться к мосту, принуждены были ограничиться перестрелкою. Между тем войско стало по горе стенами. Штыки, сверкая, подобились щетине какого-то необъятного чудовища. Сардарь наш носился из края в край и под свистом пуль сам назначал места под батареи, – скоро загремела поставленная против самого Чиркея. Любо и страшно было смотреть, как чугун бил и рушил все в сердце многолюдного селения. Каждый удар видимо ниспровергал утлые дома. Гранаты, чертя померкшее небо как падучие звезды, лопались, вспыхивали молниями, и второй выстрел

будто отвечал на первый, его ринувший, и за ними долго, долго катились отрывистые отголоски по ущелинам. Порой за пылью и дымом вырывалось пламя пожара. Крики и плач вдали сливались в какое-то дивное роптанье, будто кипение котла, будто вой ветра в пещере. Смеркло. Перепалка редела... Барабаны и рожки зазвучали зорю. Как невыразимо величественна военная музыка среди битвы! Как гордо и торжественно звучала она в горах Кавказа! Горцы перестали стрелять, – им дивны были русские песни. Эхо Чиркея впервые откликнулось на боевые наши барабаны. Все стихло. Лишь изредка брызгали огненные фонтаны ружей оттуда и отсюда; лишь рев и плеск быстрого Сулака, кипящего в глубине каменного русла, нарушали безмолвие ночи. Иногда переक्лики врагов, стекающихся в завалы, возникали за рекой, мерное «слушай!» часовых в цепях, раскинутых по хребтам окрестным, раздавалось на нашем берегу. Солдаты весело балагурили в низменных шанцах; я лежал, прислушиваясь к их разговорам. Ночной холод проникал меня насквозь. Голод и жажда воевали в желудке, – а где найти воды? где достать сухаря? Солдаты пошли в дело без ранцев. Я не пан Твардовский и не продал бы души за бочку вина, ни за бочонок золота, – но кошелек с золотом (правду сказать, весьма ветротленный) охотно бы отдал тогда за стакан воды – *простой* воды! за кусок хлеба – *черного* хлеба! В эти грустные минуты, когда ум переселяется в желудок и сердце воспоминает о прелестях ужина, слышу, вызывают охотника осмотреть мост... Я уверен, что голодный менее сытого дорожит жизнью, – вероятно, потому все великие полководцы нарочно мало заботились кормить свои войска. Я вскочил гоголем; протираюсь между множеством солдат, коими начинено было путевое ущелье, завертываюсь в шинель, оборачиваю ружье погоном вперед, чтобы оно не блестело, и, лепясь под скалою, тихомолком выбираюсь на дорогу – шириной немного более сажени. Чернея, вставали, хмурились передо мною утесы обоих берегов. На каждом шагу обломки плит изменяли звуком моему ходу, и, признаюсь, ретивое забилося, когда незванные выстрелы озарили меня. Стою как камень между камнями, – а не замечен! Я насчитал восемьдесят семь шагов от поворота до предмостья. Ползу, как змея, к закраине берега, присматриваюсь: лежит один переклад сажени в четыре, но и тот сдвинут в сторону и едва-едва держится. Внизу, в глубине сажен десяти, крутился и пенился мятежный Сулак, и над ним склонялись головами обе скалы подножий моста; ну, с берега на берег, казалось, рукой подать! Мост замыкался воротами, висящими на каменных веревях. Влево, где Сулак образовал колено, белелись одна над другою три сакли, которые могли пронизывать мост сбоку, от самых ворот и над самими воротами, тянулись по горе в несколько рядов завалы. Все это в темноте не мог я рассмотреть сразу. Я был так близок от врагов, что слышал тихий говор, видел, как они носили камень, заваливая ворота, возвышая завалы, – и вдруг, на беду мою, меня почуяли за рекой собаки. Лай их раздался зловещим по горам отголоском, и пули зачикали около меня по камням. Припав к земле, словно медный грош, я счастливо отлежался. Собаки смолкли, огонь прекратился, и я назад, назад. В ущелье встретился я с инженер-штабс-капитаном Горбачевским, с саперным поручиком Вильде и артиллерии штабс-капитаном Дейтрихом, – они собрались на осмотр, с которого я возвратился. Желая поверить все своим опытом, храбрые офицеры эти в солдатских шинелях, с ружьями отправились к мосту, – я с ними. Рассмотрев, где и как удобнее строить новый мост, они решили построить напротив моста батарею, чтобы разбить сакли и прикрыть переправу. Рабочих сюда! Долой белую амуницию – живо, тихо! Потасили бревна, привезенные с собою, и счастливо сложили их у предмостья. Потом отправились выбирать место под батарею между завалами и краем берега. Ходим, разглядываем, – нелегкая принесла туда пастушьих собак, не успевших ретироваться в Чиркей. Четвероногие стражи ходячей баранины изволили притаиться в камнях и, потревоженные нами, подняли такой гвалт, что Боже упаси! Это бы все ничего; но солдаты, не предупреденные о нашей экспедиции, воображая, что подкрадывается из засады неприятель, открыли огонь. Ответные выстрелы полетели от чиркейцев; свои и чужие принялись строчить нас наперекрест...

...Было жарко, правду сказать, – но темнота мешала цельности; мы припали к земле и докричались своим, чтоб они не стреляли. Все стихло. Выбрали место. Заложили цепь стрелков впереди; означили камешками направление фасов и амбразур эполементы; потребовали инструментов и рабочих. Начали выводить стену, разбирая камни завала. Солдаты работали тихо, безмолвно, как муравьи, – но они были неопытны в этом деле; мало было рассказывать, пришлось показывать и самому, как и что выполнить; я ворочал плиты, укладывая их в связях мерлонов, ибо малейшее замедление или неосторожность могли стоить жизни многим. Прежняя наука пригодилась мне теперь (вы знаете, что я готовил себя когда-то в инженеры или артиллеристы)! Мне поручили выстроить левую половину укрепления, – и работа росла, кипела. Каждый слой камня перекладывали мы, землею, чтоб камни не брякали и плотнее ложились, одевали их снаружи, чтобы не белелись. Скоро мы вывели стену в сажень вышиною, для прикрытия артиллеристов от навесных выстрелов с крутин, владеющих нашим берегом. В сторону развели крылья, для помещения. Потом надо было расчистить дорогу для провозу пушек, – это заняло довольно времени. Часу в пятом перед светом ввезли и надвинули орудия, а неприятель, занятый и сам поправкою завалов, ничего о том не знал и не ведал. Ну-тка попробуем, как низко возьмут орудия!

Перун блеснул – ядро ударилось в каменный череп и дважды осыпало окрестность искрами, – грохот пошел по горам... Изумленные горцы с криком пустили град пуль на огонь пушки. Другое ядро направлено было на дальний огонек, видно разложенный под котлом в глубоком завале... Оно как раз легло в средину теней, и они рассеялись, пламя погасло... Видно, русский чугуун не очень удобоварим... плохая он приправа горскому плову! Умолкли все: все ждали утра; оно уже серело по высям гор; зубцы их обозначались; громады, сдвинутые около Чиркея неодолимою твердынею, рассветали постепенно. Туман клубился из оврагов, будто рвов, изрытых природою в оборону этому гнезду храбрых разбойников, стекшихся из Чечни и салатавских деревень на помощь ближним. Первый луч солнца, сверкнувший на теме Кавказа, казалось, зажег снова огонь вражды и грома пушек. Батарея из десяти орудий, устроенная по приказу командующего против самого Чиркея, произнесла глагол смерти. Две пушки нашей батареи, перевозимые то вправо, то влево в запасные амбразуры, прыснули картечью по завалам, устроенным в садах, лестницей друг над другом, ядрами – по саклям предместия. Каменные осколки летели во все стороны, деревья ложились, будто пожатые ураганом. Ружейная пальба загорелась с новою силою... Дым густыми клубами катился по горе и потом медленно сливался с облаками, задевающими за головы скал. Картина была великолепна!!

Позабавившись стрельбою из ружья по головам горцев, отваживавшихся перебежать из разрушаемых саклей к воротам, я дивился меткости горских выстрелов. Выставленные на штыках перчатки в один миг поражались несколькими пулями. Всякий, кто отваживался перейти с батареи в завалы, был неминуемо ранен; кто протягивал ногу, платил за это удобство дорого. Я бы счел за сказку, что свинец пробивает железо, – но убедился в том, увидя пять ружей, простреленных сквозь ствол; у некоторых, сверх того, пули, пробив обе стенки, сломали стальные шомпола. Толстые железные листы, покрывающие кровлю зарядных ящиков, превратились на нашей батарее в решето. Множество штыков было сломано пулями. Правду сказать, мы очень близко были от неприятелей, а их винтовки берут невероятно далеко. Я устал, я был истощен трудами и бессонницею, ибо и запрошлую ночь пролежал в секрете. Солнце припекло меня, и, когда я сел на пушечное ведро, невольная, неодолимая дремота наложила свинцовую печать на мои веки. Несколько раненых лежали подле, стена. Ноги мои упирались в убитого, – ни тех, ни другого нельзя было вынести с батареи: она, как остров, возвышалась на скате, открытом даже пистолетным выстрелам врагов. На меня нашел какой-то жалобный стих... Свист ядер с большой батареи слышался мне стоном вдов и сирот. «Для чего люди терзают друг друга беспощадно?» – подумал я... но не успел додумать: я заснул богатырским сном... Ни гром пушек рядом со мною, ни свист пуль мимо не пробудили меня; через полчаса, полагая, меня

разбудил бомбардир, которому нужно стало окунуть в ведро банник. Озираюсь – бой еще горит во всей силе.

Между тем командующий войсками, обозревая орлиным оком возможности, послал Басова казаков отыскивать брод гораздо выше Чиркея; а против самого Чиркея, усилив огонь большой батареи, приказал попытать броду или переправы вплавь. Слово любимого вождя одушевило русских беспримерною отвагою. Мусульманские всадники, линейские казаки из конвоя командующего ринулись с крутизны на конях в реку, да и кто под глазами его не пошел бы в огонь и в воду! Егеря 42-го полка, батальона майора Кандаурова, исполнили это в полном смысле слова. Предводимые штабс-капитаном Баратовым и поручиком Хвостиковым, они не задумавшись кинулись в бурный поток, кипучий, летящий стрелой с крутого ложа... но что могли сделать люди против всемогущей природы? Бесстрашные были сбиты, разнесены, увлечены быстринною, – с большим трудом могли спасти их. Но неприятель с удивлением и с ужасом увидел, что русским нет препон; приготовление к постройке моста, для чего из ущелья начали уже набрасывать доски и фашины, поразило их еще более... Эти попытки показали им меру нашей храбрости, – они смутились, оробели... стали переговариваться с наступающими, кричать «*аман* (пощада)», махать шапками и наконец, несмотря на жаркий картечный огонь, выслали старшин на берег для условий. Командующий, видя, что он может достигнуть цели, не Теряя людей, велел прекратить пальбу... Помалу она умолкла обоюду.

Приятна минута перемирия после боя, как тень в пылу дня, как перемижка болезни. Все вдруг поднялись из завалов, будто выросли из земли. Гора покрылась неприятелями, униженная ими как многорядными бусами, – и с каким любопытством мерили, считали мы их очами!.. Их было более четырех тысяч. Опершись на ружья или гордо взбрасывая их за плечо, стояли горцы, угрюмо поглядывая на нас из-под мохнатых шапок своих... Живописные группы столпились у спуска к реке, чтобы напиться или освежить лицо (из завалов прогулка за водою стоила бы жизни). Припав к реке, они жадно глотали мимолетную влагу, черпали рукой, купали головы. Вдали выносили их раненых, убитых. Сгорая нетерпением рассмотреть все поближе, я спрыгнул с амбразуры и прямо спустился к мосту, лепясь за уступы скалы. Старшины селения, окруженные разноплеменными горцами, видными старыми людьми, приближались к разрушенному мосту; между ними мелькали белые чалмы приверженцев Кази-муллы. Мне хотелось променять с чиркейцами несколько слов, и я обратил речь к молодому человеку: юность менее недоверчива и менее осторожна.

– Алейкюм селам, *хоччах* (молодец)!

– *Саг-ол, саз-ол* (Благодарю)!

– Зачем вы сражаетесь с нами! – сказал я. – Добрые люди должны быть друзьями!

– Зачем же вы идете к нам, если вы добрые?

– Вы сами начали ссору: вы приходили грабить шамхальцев – были под Тарками, под Дербентом, в Эрпиях.

– У нас каждому воля идти куда хочешь. Везде есть добрые люди, есть и разбойники!

– Пусть так. Зачем же вы принимаете и скрываете нашего врага, Кази-муллу?.. Семейство его до сих пор между вами.

– Нет. Он давно от нас уехал, а жена его вчера бежала в горы... Ступайте же назад!

– Нет, приятель! Русские не отступают без удовлетворения. Вы видите, что нельзя перелететь за реку! Вы видели, что мы едва-едва не перешли за нее. Простоим еще неделю, месяц, и построим мост, запрудим Сулак ваш, и хоть потеряем половину солдат, а непременно возьмем Чиркей. Тогда не ждите пощады.

Горец нахмурился и молчал; другие сердито шептались между собою. Я продолжал:

– Вы славно дрались, а бой не проходит даром. Я чай, много у вас ранено, убито?

Лица горцев померкли вдруг, будто тяжелою мыслью: иные потупили очи, иные отворотились.

– Не спрашивай нас об этом... – отвечали они. – На жизнь и смерть Божия воля.

Впоследствии от самих старшин сведения, что у них потери более трехсот человек. Одна граната, пробив стену, лопнула подле столба, поддерживавшего потолок; он пал, потолок рухнул и подавил шестьдесят человек вдруг. Эта граната была Сампсон в миниатюре между горскими филистимлянами.

С нашей стороны командующий войсками прислал для переговоров майора Аббас-Кули-Баки-Ханова, мусульманина, известного своею ученостью, достойного преданностью. Со стороны чиркейцев договаривался именитый между них человек, Джеммал. После многих споров и возражений чиркейцы предались великодушию русского правительства на следующих условиях.

1-е. Местечко Чиркей покоряется отныне престолу его императорского величества и обязывается исполнять все приказания русского начальства.

2-е. Чиркейцы обещаются не принимать к себе ни Кази-муллы, ни его сообщников.

3-е. Они должны возвратить оружие, взятое Кази-муллою у отряда генерала от кавалерии Эммануэля.

Итак, в один день совершенно покорение одного из неприступнейших селений Кавказа, которое оградил он в лоне своем и крутью гор и быстрым потоком! Люди, не признававшие от века никаких властей, склонились пред оружием русского царя. Что ж может противостать его воле, уму его вождей, отваге его воинов, когда здесь самую природу победили силы человека!..

Между тем мы бродили кругом, высматривали, глазомерничали, забыв, что очень небезопасно полагаться на честь азиатца, не знающего, не уважающего никаких прав и правил военных, соблюдаемых европейцами. Заметив наше любопытство, многие стали взводить курки, а когда увидели, что топограф чертит что-то карандашом, несколько ружей склонились на прицел, с явными угрозами. Эта осторожность пришла позднею. Все, что нужно было знать и снять, было узнано и снято.

К вечеру сменили нас из шанцев, и как сладко и как крепко уснул я под открытым небом, на голом камне у огонька! В двадцати шагах от меня стояли палатки с ранеными, но я не слышал их стога, несмотря на то что им делали операции. Убитыми и ранеными потеряли мы в этом деле до восьмидесяти человек. Коням тоже досталось порядочно; их положили до семидесяти пяти.

Еще звезды сверкали, трепетали в небе и холодные лучи их сыпались на лица спящих инеем, а уж барабаны гремели, призывая к походу. От звука их, будто от дыхания бури, легли палатки стана. Сперва тронулись тяжести: лазарет, артиллерия, обоз; в замке и мы, но уж было светло, когда пошли мы. Дождевые облака, подобные серному дыму, клубились в ущелиях, будто из жерл адских. На горах уже низвергался дождь, и вздутый им водопад, с левой стороны Чиркея, пенясь, клубился по уступам горным. Казалось, он падал прямо из туч, гонимых, расшибаемых о ребра гигантского утеса. Смирнен и печален лежал покоренный Чиркей и будто со стыда прятался в ущелье. Жерло Сулака в вышине упивалось парами, которые катились, неслись, падали с хребта Салатафского, будто снежные обвалы. Я все оборачивался назад, все любовался этим ненаглядным зрелищем, но скоро гряда холмов и дождевая завеса заградили горизонт мой.

Ну уж погода, ну уж переходец, прости господи!.. Шли, шли, как журавль по болоту, – одну ногу высвободишь, а другая вязнет. Ливень целый день преследовал нас, как ревнивый муж, ветер проникал в самые сокровенные складки души. Насилу-то дотащились до Галембек-аула. Пришли, стали – вода по колено, а уж грязь-то, грязь такая, что сделала бы честь любому азиатскому городку. Палатки наши – ни дать ни взять чертог русалок. Разложили огромные костры, хотели посушиться, – куда тебе! С одной стороны жгло и пар валил клубами, с другой в это же время платье втрое мокло от дождя. Устав вертеться даром перед огнем, я решился, мокрый как мышь, лечь на мокрый ковер, постланный на грязи, то есть на пуховике,

который провидение всегда держит наготове для нашего брата воина. Зная, однако ж, экспериментальную физику, я, для поддержания животной теплоты, хватил добрую чарку водки и скоро согрелся так, что с меня пошел пар, будто с парохода. Постепенно погружался я в воду и в забытие и наконец заснул, как бобр выставя только нос на воздух.

Сселение> Гилли, 6 декабря 1831.

Какой русский не веселится сегодня, празднуя тезоименитство великого нашего монарха! Но между тем как шампанское шумит и льется и пьется за его драгоценное здоровье у вас в столице, я посвящу эти часы славе его победного оружия.

30 октября была у нас торжественная присяга. От мятежных селений Дагестана, от Чиркея и Гумбета, от Салатавского округа и общества кой-субулинцев съехались старшины и посланцы. Привезено было и требуемое из Чиркея орудие, которое хранили они на высокой горе за селением. Войска стояли в строю; знамена развевались ветром Кавказа, смиренного русским оружием. Командующий сказал горцам речь, полную простоты и силы: упомянул о низком происхождении Кази-муллы, возмутителя их; о том, как он, выдающий себя за посланника неба и очистителя веры, продавал в молодости водку и вино магометанам; о том, что сей злодей умертвил своего отца самым ужасным образом, влив ему в горло кипящее масло; доказал его поступками, что он лишь себялюбец, жаждущий власти и золота, что они видят примером, какие кары накликал он бесполезными мятежами на головы им обманутых, что стыдно долее верить, грешно дружить сему избранному злого духа, что монарх наш милует заблужденных, щадит покорных, но умеет открывать лицемерие и казнить мятеж. Старшины клялись свято сохранять верность и покорность, положив руку на Коран и лобзая его. Завет спокойствия Дагестана был заключен. Но чтобы упрочить оный, командующий разместил войска в сселении> Кара-будахкенте, в Гиллях, в Буйнаке, в Уйтамише. То была живая цепь, наложенная на Табасарань, в которой умы еще волновались. Сардарь наш ведал, что присутствие Абдурзах-кадия и других беков, ревностнейших поборников Кази-муллы, было закваскою мятежей в среде буйных табасаранцев, и для того послал к изменникам доверенных людей, от имени почетных дербентских жителей, уговорить их предаться великодушию русских, прося пощады. Это удалось. Абдурзах-кадий, Айдамир, Муртазали и другие мятежные беки явились к дербентскому коменданту. Командующий, известясь о том в крепости Бурной, которую тогда осматривал, поспешил прибыть в Дербент и отослал главнейших под надзором в Баку. Между тем табасаранские беки, по его приглашению, избрали себе в главу, то есть в кадии, Исай-бея, известного своим усердием к русскому правительству. Ибрагим, бек Карцахский, наследник владений майсумов, привел в покорность возмущившихся своих подданных. Джаммал-бек, сын последнего уцмия, принял обеты верности каракайтахцев. Одних устроили быстрые успехи русского оружия, других укротило великодушие командующего, – Дагестан смирился.

Дивлюсь я и до сих пор постичь не умею, каким колдовством солдаты всех скорее узнают далекие новости, нередко важные тайны! Будет ли поход, решено ли дать сражение, идет ли к нам какое войско, где движется и что замышляет неприятель... им все известно, обо всем они говорят задолго прежде, сперва шепотом в палатках, потом около огней, а потом уже открыто, – и хоть вести их не всегда бывают связаны в подробностях, но почти всегда верны вообще. Стоя на часах у начальников, ходя на вести в канцелярию, толкуя с денщиками и писарями, они проникают везде как воздух, так же незаметно и так же перелетно. Близкие и беспрестанные сношения их с народом, даже в земле неприятельской, дают им средства скорее других вызнавать слухи и замыслы. Но, что всего страннее, случалось, они рассказами предупреждали события, – что ни говорите, а иногда глас народа есть глас Божий. Так было и недавно. Между солдатами давно уже ходил слух, будто Кази-мулла, заняв генерала Вельяминова сражением на Сунже, сам ночью с одной конницею ударил вниз по Тереку, перебродился за него, и врас-

плох вторгся в Кизляр, ограбил часть города, три церкви⁵⁰, и с пленными ушел в горы. Сначала весть эту считали несбыточной; но невероятное обратилось скоро в верноподобное и, наконец, подтвердилось официально. Набег сей совершен был Кази-муллою 1 ноября. 5-го он уже был под Чиркеем. Гордый удачею, падежный на золото, он хотел остаться там; но чиркейцы крепко держали присягу, потому что крепко помнили русские гостинцы, и не приняли разбойника. Желая своею деятельностью выиграть во мнении дагестанцев, дабы подвинуть их к новому мятежу, он, в ночи на 8 ноября, напал на селение Каранай; но каранайцы и эрпилинцы совокупно ударили на его скопища, вытеснили, погнали, – он засел в неприступном ущельи, по дороге к Гимри. Стало явно, что уважение к лжепророку упало, – самые горячие его приверженцы на него восстали; меры боя и мира командующего произрастили желанные плоды.

Кази-мулла, после этой неудачной попытки, бежал в Гимри, селение, лежащее на Койсубулинском обрыве Салатава, в пропасти, недостижимой взором, не только оружием. Лишь узкие тропинки, пролегающие над стремнинами, ведут туда. Там находилась одна жена и часть семейства Кази-муллы, и там же хотел перезимовать он сам, защищенный многочисленными единомышленниками. Желая удалить возмутителя из соседства Северного Дагестана, генерал-адъютант Панкратьев отправил подарки к почетным гимринцам от имени шамхала, уговаривая их изгнать из среды своей Кази-муллу; но между тем он хотел подкрепить свое требование оружием. Генерал Коханов получил приказание занять Каранай и Эрпили и тем пресечь ему единственные дороги в шамхальские владения. Сам командующий прибыл к отряду 13 числа в Карабудахкент, распуская слух, что пойдет атаковать Гимри. 16-го батальону куринцев, в сопровождении трех тысяч пеших шамхальцев, приказано было выступить из Эрпилей на гору. Слышать – значит повиноваться. Велено – и для русского нет невозможного. С рассветом мы двинулись на крутой хребет Салатава, давно уже покрытый снегом... Идем!

Давно – кажется, с байбуртского сражения – не уставал я так, как устал, взбираясь по обледенелой крутизне Салатава. Ноги раскатывались, скользили; невозможно было идти, не упираясь штыком в снег. Зато я щедро награжден за усталость прелестным видом, когда ветер распахнул позади нас туманы. Прошедши две трети, то есть верст пять в гору, мы были остановлены, и я имел полный досуг вздохнуть, дать разгул очам своим. Я уже стоял за границей растения, на крутом гольце. Утро было морозно, солнце катилось по синеве пылко и лучезарно. Девственный снег, не запятнанный следом человека, горел как покрывало, сотканное из алмазов по радужной основе. Огромные деревья опушены были кристаллами, в тысячу раз прелестнейшими зелени... Это было что-то идеально очаровательное; звезды роились по ним вместо листьев, солнца в замену плодов. Но что виделось под стопами внизу, под очами вдали: и склоны и обрывы гор, расписанные тенями, и яркие хребты застывшего океана, вспененного туманами, и все, все, что можно было обнять взором и воображением, – этого не выразит никакое слово, не даст подобия никакая кисть. Сколько жизни разлито было по этим горам, несмотря на зиму, символ безжизненности! Я исчезал в созерцании – Адам падал с плеч моих... я был так далек от земли, и земля сквозь мысль мою казалась мне так чистою, сам я в эту минуту был так близок к небу, словно достоин его!.. Луч солнца играл, как поцелуй ангела, на лице моем, будто никогда не кропленном ни каплею пота, ни каплею слез, ни каплею крови! Тогда я мог сказать, как Фауст: «Возвышенный дух! ты дал мне, дал мне все, о чем молил я. Ты отдал мне в царство пышную природу, даровал силу ее чувствовать, ею наслаждаться! Не к одному хладнодивящемуся изысканию ты допустил меня, нет! Ты дозволил мне заглядывать в глубокое ее лоно, как в сердце друга».

Мы не пошли в Гимри, ибо командующий войсками очень хорошо знал невозможность спуститься в эту пропасть в такое суровое время года. Но демонстрация его имела полный

⁵⁰ Там случилось странное событие, доказывающее уважение черкесов к св. Николаю. Ограбив русскую церковь дочиста, они оставили только богатый образ сего святого неприкосновенным.

успех. Его на дороге встретили посланные от койсубулинцев с уверениями, что желание русских будет совершено. На другой день явились гимринцы от старшины селения Давуд-Мугаммеда с известием, что Кази-мулла, изгнанный ими, удалился со своими клеветрами в Иргены, где присоединился к нему Гамзат-бек Аварский, дважды помилованный и дважды изменивший русским.

Видя укрепляющееся доверие к русским и ненависть к лжепророку между дагестанцами, генерал-адъютант Панкратьев, дабы усилить оные, лично роздал несколько медалей и денежных награждений мусульманам, отличившимся в деле 8 ноября. Между тем зима установилась. Густые снега завалили сугробами ущелья. Горные дороги стали непроходимы, и сардарь наш отправил часть войск, истомленных беспрестанными походами, в свои штаб-квартиры. Для опоры же спокойствия пять рот Куринского полка и шесть рот Апшеронского расположились первые в Карабудахкенте, вторые в Дженгутае.

В это время получено известие, что Кази-мулла хотел было водвориться в с(елении) Иргены, но, видно, счастье его пошло на отлив: ему и там не позволили скрываться. Навербовав по горам отчаянную шайку, человек до пятисот, он с Гамзат-беком, достойным его сподвижником, перевалился за Салатав и засел в почти неприступном урочище Чумкессен, в двенадцати верстах от Казанищ, разглашая, что хочет карать отпавших своих сообщников, и между тем похищая баранов у соседних деревень. Генерал-майор Коханов выступил против разбойника с двумя батальонами, подкрепленными шамхальскою пехотою при четырех орудиях, 26 ноября, обошел овраг и атаковал неприятеля. Но непроницаемый туман воспрепятствовал успеху. Не видя далее пяти шагов перед собою, – а уже осенний день навечере, – русские должны были отступить. Горцы дерзостно кинулись из завалов своих, перешли через глубокий овраг и напали на передовые войска наши, но были рассеяны пушечными выстрелами. Дерзость их возрастала с каждым шагом отступления, – это обычная азиатская сноровка. Раз пять порывались они отбить заднее орудие на узкой лесистой дороге, но артиллерийский офицер без страха снимал его с передков, обдавал горцев картечью и снова на передки, – это был тигр, которого каждый оборот стоит жизни собакам... Одна минута, однако ж, была истинно роковая. Худо ли был проколот картуз или не догнан до места, только скорострельная трубка вспыхнула – и нет выстрела; ставят другую – вспышка! третью – не палит!! А горцы почти на колесе и с дикими воплями кидаются в шашки, – но апшеронцы лихо отстояли орудие, стрелялись в упор, резались врукопашь. Глубокий снег и чрезвычайно суровая погода принудили нас возвратиться в самые Казанищи.

В ночи на 26 число Кази-мулла отрядил триста человек для нападения на Эрпили, но там сторожил их отважный Улу-бей. С рассветом началась сеча. Улу-бей со своими вытеснил их из края селения, ими занятого, преследовал далеко, многих убил, десять человек взял пленными. В Эрпи-лях в этот набег свершилось дело, достойное памяти. Мать Улу-бея, пылая гневом и местью на виновников бед ее, родных и одноземцев, кинулась на них с топором в руках, поразила нескольких и сама приняла геройскую смерть. Кази притаился в Чумкессене; но могли ли, но должны ли были русские терпеть непримиримого врага в двенадцати верстах от себя? Это бы значило потоптать свои лавры, даром потерять плоды победы. Командующий войсками взвесил, какое влияние эта дерзость может сделать на умы дагестанцев и горцев, даже на войска наши, и решил: непременно взять Чумкессен. Дело это поручено полковнику Миклашевскому, который незадолго, по болезни бригадного генерала, принял начальство над отрядом.

Отряд этот собрался в Казанищи 30 ноября. Назавтра назначен был бой, и все знали, что он будет упорен, ибо все слышали, что Чумкессен едва доступен, что там есть крепостца, что она защищается тысячею отчаянных удалцов племен лезгино-аварских; но солдаты любили Миклашевского как душу и так твердо веровали в беззаветную храбрость, в благоразумие его распоряжений, что готовились в дело весело, беззаботно. В палатках раздавались шутки, вкруг огней песни, – о, сколь для многих были они последними! Судьба уже отмечала лица жертв

железным перстом своим. Скажите, какая нить связывает два мира, две судьбы, две жизни? Скажите, отчего, готовясь расторгнуться, она почти всегда дает ощутить себя то грустью предчувствия, то зловещими снами? «Какой предрассудок!» – скажете вы, засмеетесь или, что еще хуже, улыбнетесь с сожалением. Пусть так. Я сам очень хорошо умею толковать о вздорности этого и между тем не могу дать себе отчета, отчего и когда делаю исключения, – и не раз близость беды, как близость грозы, томила меня тоскою задолго прежде.

Не говорю уже *а* многих умнейших людях, покорных предчувствию, – я знал людей, не имевших веры, кроме этого суеверия, и это суеверие редко их обманывало. Кто видел жертву смерти около себя в многообразных образах, тот, конечно, более домоседа имел случай видеть тому примеры. Расскажу один.

Накануне 1 декабря Миклашевский ужинал с немногими близкими к нему. Он казался веселым, но едва ли был им. Невольная дума мрачила его лицо.

– Ну, господа! – сказал он. – Надо славно заключить славный поход. Я должник государю за многие милости, особенно за позволение ехать в отпуск, и сделаю все, что могу. Отработаем дело молодецки, и я летом полечу на родину. Воображаю, как будет рад мне старик отец мой! Про себя и говорить нечего – я русский, я сын, я жених! Лестно мне, что генерал Панкратьев выбрал меня приложить кровавую печать к странице истории, на которой блеснит его имя, но, подивитесь – я бы почти был рад, если б Кази-мулла бежал заранее. Мне снился в прошлую ночь странный сон. Чудилось мне, что в мою палатку вбегает прекрасная женщина, в слезах, с растрепанными волосами, жалуется, что она кем-то покинута. Прошла минута, и она уже лежала в моих объятьях и как ангел ко мне ласкается, но я чувствовал, что поцелуи ее – лед, грудь холодна, как зима... Она холодела на руках моих, – мне стало страшно, я зяб, я застывал, я замерзал, сердце переставало биться... Просыпаюсь!.. Одеваю у ног, и холодный ветер играет полами шатра. Разумеется, это вздор... Будучи отрядным начальником, я менее чем когда-нибудь подвержен буду личной опасности... Но успех сражения? но участь сражающихся?.. – Разговор о деле замял и мысль о грезах.

На восходе солнца мы двинулись из Казанищ в гору к Чумкессену. Надобно сказать, что Чумкессен выходит с хребта мысом, ограниченным с юга оврагом, а с севера крутым обрывом, вся окрестность его обнята густым лесом; дорога на этот мыс идет по правой стороне оврага и, огибая оный, спускается рытвинами. Почти на углу Чумкессена стеснено несколько землянок и саклей, в коих скрывались семьи мятежников во время лета. Полковник Миклашевский, оставя против тропинки, туда ведущей, роту куринцев с одним орудием, прочие войска послал в обход. Шамхал и Ахмет-хан стали с людьми своими на дороге от Казанищ. Улу-бей с эрпилинцами занял дорогу к Гимрам и, заметя, что к Чумкессену идет на выручку толпа аварцев, пересек им путь, разбил их, взял в плен двенадцать человек. Рекогносцировка показала, что через овраг невозможно перевезти пушку и что обходная дорога заграждена засеками и перекопами, следственно требует долгого времени для расчистки, – а велик ли зимний день?.. Миклашевский решился сделать натиск одною пехотою. Перекрестились – пошли... Пули уже заиграли. Восемь орудий остались бить по видным завалам перед селением; но когда мы обежали его, пушки умолкли, настала жатва свинцом и железом. Апшеронцы и егеря на славу атаковали неприятеля, разом выбили его из завалов, из саклей и, беспощадно коля встречного и бегущего, по следам их кинулись с двух сторон к укреплению Агач-кале, которое, будучи скрыто в ложбине от пушечных выстрелов, только тогда открылось глазам нападающих. Это Агач-кале было трехстенное укрепление, воздвигнутое на краю утеса. Наружные углы его обстреливались саклями, сложенными вроде башен. Оно скатано было из огромных деревьев в несколько венцов и накрыто суковатыми пнями (*chevaux de frise*). Между бревнами вложены были по концам палочки, отчего во всю их длину образовались весьма удобные стрельницы, – из них-то летел смертоносный огонь на наступающих. Скрытые за непроницаемою оградой, горцы били на выбор; солдаты наши, несмотря на это, бесстрашно кинулись вперед; но когда град пуль срезал

целые ряды храбрейших, когда несколько офицеров легли на окровавленный снег, натиск превратился в перестрелку жестокую, убийственную, ибо расстояние между крепостцою и рассеянными купами дерев не превышало восьмидесяти шагов. Кучки бесстрашных егерей, предводимых достойными своими офицерами, кидались несколько раз к стенам укрепления, срывали окровавленные знамена, пытались взлезть наверх, – иным удалось и это, но суковатая кровля была непроницаема; герои падали, пробитые десятками пуль. Осажденные оказали отчаянное сопротивление, – иные, увлеченные бешеною храбростью, вылезали из укрепления и с шашкой в руке гибли на штыках. Выстрелы их были метки и непрерывны; упорство, месть, ожесточение росли с обеих сторон; подошва Агач-кале завалена была трупами коней и людей!.. Никогда в жизни не видал я столько крови и столько храбрости на столь малом пространстве!..

Миклашевский нетерпеливо ждал решения боя за оврагом; но когда прискакал к нему офицер и сказал что-то на ухо, он вспыхнул. «Коня!» И в тот же миг велел двум ротам куринцев следовать за собою, спустился с крутизны вскачь и вскачь поднялся на противоположный утес, по такой крутизне, что и пешком взлезть трудно. Судьба несла его, говорили солдаты. Он спрыгнул с коня, обнажил шашку и крикнул:

– Вперед, друзья! Теперь наша очередь показать себя молодцами!

– Ура! ура! – заревели солдаты. – Ура, вперед! С нами отец наш! Все оживо, все хлынуло к Агач-кале. Он пошел на приступ впереди всех, между ротою куринцев и егерей... подбежал к бойнице и в запальчивости хотел заколоть сквозь нее горца; но злодейские выстрелы сыпались, кипели, и роковая пуля пронзила его грудь, пробила сердце и легкие; он успел только сказать: «Возьмите!» – ступил назад и пал. Вслед же за ним смертельно ранен майор Кандауров, тяжело подполковник Михайлов, пять обер-офицеров и множество нижних чинов.

Но смерть храброго полковника не могла остаться без мести, завет его – без исполнения. Ожесточенные солдаты руками рвали сруб, лезли наверх, ломали кровлю и вломились наконец в укрепление, падали друг на друга; друзья и недруги – все смешалось... Когда ударили отбой, лишь одни трупы злодеев остались в Агач-кале: там не было ни пленных, ни раненых. Темнота укрыла многих мятежников от гибели; они катком спустились с обрыва. На месте сражения осталось более ста пятидесяти тел и семьдесят лошадей. В числе убитых узнали татары лучших наездников и товарищей Кази-муллы. Взято два почетных знамени и одно Гамзат-бея; добыча в вещах и деньгах, в том числе в богатейших уборах кони Кази-муллы и Гамзата. Кази-мулла бежал так неожиданно и торопливо, что в пещерке, в которой он во время дела молился, нашли его Коран и другие духовные книги. Ковер, на котором сидел он, был залит кровью. Его полагали тогда раненым.

Мы стали почти на «костях», как выражались наши предки. Дорога, но знаменита была победа. Мы потеряли более трехсот убитыми и ранеными, зато стяжали славу русскому оружию. Ни помощь природы, ни силы огражденного неприступностью человека не устояли перед храбростью русских, – а выгоды этого мнения в очах дикарей неоценимы. Перед нами, на окровавленном плаще, лежал труп убитого полковника, и как гордо, как прекрасно было его чело!.. Офицеры и солдаты рыдали. Татары плакали горькими слезами... Но воину ли жалеть о такой завидной смерти? Нам должно желать ее! Миклашевский пал, как жил, – героем! Наутро огонь и железо истребили гнездо злодеев. Окружный лес упал под топорами. Мы возвратились в свои квартиры и скоро разошлись на зимовки. Дагестанский поход кончился.

Свершив, кинем взор на свершенное.

Покорив Дагестан, умирить его, упрочить его спокойствие было дело одного месяца. Не легкость дела, а здравость мер генерал-адъютанта Панкратьева была тому виною. Убеждениями своими произвел он то, что Кази-мулла, доселе всемогущий над умами горцев, превратился в разбойника, скитающегося в ущелиях Кавказа без приюта. Прежние последователи проклинали его, самые пылкие приверженцы с ним сражаются. Нелицеприятная справедливость с азиатцами и сохранение в русских войсках строгого порядка укрепили вновь доверие

к русскому слову, привязанность к русскому правительству. Не одна гроза, не одно оружие укротили силу, нет! Великодушие более еще победило сердец, – и по тому самому должно надеяться в Дагестане долгой, ненарушимой тишины.

В военном отношении можно ли было сделать более вреда неприятелю, добыть более славы русским с столь малыми средствами? Войска наши, всегда обеспеченные продовольствием, несмотря на осеннюю грязь, на зимние выюги и снега глубокие, двигались с невероятною быстротою, поражали многочисленного неприятеля на каждой встрече. Счастливое сообщение дюбекского дела, где генерал-адъютант Панкратьев тройным нападением раздробил, извлек и по частям разбил табасаранцев, достойно изучения. Решительное до дерзости, но оправданное блестящим успехом нападение на Эрпили, где битва решена, так сказать, одним взмахом меча, останется надолго в памяти горцев. Они были изумлены и уstraшены стройным развитием колонн, которые вдруг обошли, охватили, смяли их. Искусное расположение батарей под Чиркеем, покоренным русскому царю так быстро, так славно, и, наконец, взятие Чумкессена, богатое политическими последствиями, – все это отличает дагестанский поход в числе знаменитых событий царствования Николая! Он будет внесен в летописи военные яркими буквами; он поставит генерала Панкратьева в ряд лучших вождей и правителей нашего времени.

Отрывок письма из отряда, действующего в Дагестане

Город Тарки, 1831 г., мая 30.

...Крепость Бурная, возвышающаяся на отвесном утесе над Тарками, внезапно осаждена была войсками изувера Кази-муллы на рассвете 26 мая. Измена тарковских жителей, которые накануне клялись действовать заодно с русскими и просили защиты под пушками крепости, проложила мятежникам путь до самых стен, так что с самого начала они заняли ружейные бойницы со стороны города, сквозь них завели резню и стрельбу с гарнизоном. В тот же день к вечеру единственный фонтан, вне крепости находящийся, и стена, прикрывающая к нему спуск, впали в руки осаждающих. Проломав ее, они кинулись на соседний пороховой погреб и толпами ворвались в него на дележ зарядов, как вдруг граната, брошенная с крепости, взорвала погреб на воздух. Гибель более трехсот горцев убавила у остальных дерзости; но положение гарнизона было тем не менее ужасно.

Неприятель с высот бил в крепость на выбор и несколько раз пытался на приступ. Кроме того, в Бурной оставалось мало снарядов, нисколько воды и никакого средства подать весть генералу Коханову, командующему нашим отрядом. Двое удалцов, взявшихся за это, были убиты, но дух гарнизона не упал; день и ночь велась перестрелка, отражались приступы... Русские решились умереть не сдаваясь. Но бессонница и жажда могли победить их силы прежде, чем силы их души.

В это время, ничего не зная, не ведая, мы жгли деревни возмущившихся дагестанцев, прервавших около нас все сообщения. Ночью под селением Мусалим-аул вдруг пробудил нас грохот барабанов. Что такое? Бьют генерал-марш вместо зори... По возам, подъем; встрепенулись, двинулись. Генерал получил из Бурной записку, принесенную к нему в стволе винтовки. Вот она: «Крепость два дня в осаде, вода отбита, пороховой погреб взорван, с часу на час ждем решительного приступа». Чертовский лаконизм! Мы не шли, а лезли на выручку братии в гору, с горы, по ущелиям, отбиваясь от преследователей, наживая новых встреч. Но обоз замедлял нас, и генерал, видя, что не поспеть с отрядом к ночи в Тарки, решился, несмотря на опасность быть отрезанным, взять два взвода пехоты, ста три мусульманской конницы и налегке спешить к крепости, чтобы ободрить своим неожиданным появлением гарнизон и отвлечь от стен неприятеля, который, по новым известиям, должен был взять наутро Бурную. Я был с ним. Смеркалось. Бегом спустились мы с горы, врезались между садами, и пушки наши загремели противу домов, занятых неприятелями. Радостные клики и выстрелы отвечали нам с крепо-

сти. В тот же миг толпы мятежников стали спускаться с крутизны и осыпали нас градом пуль. Генерал не смешался: велел взять на передки и повел нас вперед по дороге. С перекрестка еще бросили мы две гранаты в город и, поворотя вправо, благополучно дошли до сборного места на берегу моря, посреди неприятеля, который никак не мог поверить такой дерзости. Отряд прибыл ночью, встреченный пальбою с завалов. Надобно сказать, что Тарки раскинуты по крутизнам оврага, сходящего уступами от Бурной к морю, шириною с полверсты, длиною полторы. Пройти к нему нельзя иначе, как через сады, перерезанные частыми ровиками и завалами, увенчанными плетнем из терновника или когтистого собани-дерева. Кроме того, многие дома имели нарочно пробитые стрельницы, все улицы перекопаны были завалами. Этот город, занятый до исступления храбрым неприятелем в семь раз многочисленнее нашего отряда, решился генерал взять штурмом, ибо от этого зависело спасение крепости. С рассветом дня, оставя две роты в прикрытие обоза, мы перекрестились и пошли вперед, как на праздник.

У самого бесстрашного зрителя замерло бы сердце, видя, как три горсти русских с трех сторон двинулись против огромного города, встреченные убийственною пальбою. Первая цепь стрелков молодецки выбила неприятеля из засад в центре города и потом, опрокидывая его из завалов в завалы, с громкими «ура» втеснила в дома и начала штурмовать их один за одним. Рота, назначенная вправо деблокировать крепость штыками, проложила себе дорогу на вершину горы и отбросила неприятеля к селению Кяхулай-Торкали. К ней навстречу выбежали умирающие от жажды жители и женщины крепости и, с радостными слезами объемя своих избавителей, кинулись к фонтану. Натиск этой роты был столь быстр, что кумыки оставили на огне свои котлы с пловом и бараниной, и командир роты, раскинув стрелков, чтобы очистить соседние дома, прехладнокровно велел перехватить своим солдатам вражескою трапезою, прикрывая в это время воду, и потом, когда набрали ее довольно для крепости, он снова ударил сверху вниз навстречу другим ротам, идущим снизу вверх. Между тем упорная битва не переставала; более десяти раз ожесточенные кумыки и чеченцы кидались в шашки, а ничто не может быть ужаснее удара людей, поклявшихся умереть; но здесь нашла коса на камень: бесстрашие сокрушилось о бесстрашие, панцерники умирали на штыках, не отступая; солдаты наши, кучками по семь и по десять человек, бросались в завалы, занятые двадцатью и тридцатью врагами, и опрокидывали их. В центре было самое убийственное дело. Орудие, которое громило там стены домов, пробивало для неприятелей стрельницы, из которых в тот же миг выставлялись ружья и меткими выстрелами бросали смерть за смерть. Командир Куринского полка, подполковник фон Дистерло 2-й, посланный генералом на правый фланг, чтобы занять под батарею курган, командующий обеими половинами города, исполнил это с успехом и приехал в центр, где наши стрелки брали приступом дом за домом. Увлеченный отвагою, он повел их сам в штыки, выбил из одного завала и, держа в руке отбитое им знамя, с восклицанием: «Ребята! вперед! Ура!» – кинулся против дома; но роковая пуля в грудь повергла мертвым бесстрашного. Разъяренные солдаты, взяв дом, из коего вылетел выстрел, свершили кровавую тризну за смерть любимого начальника. После этого невозможно было уговорить их брать пленных.

Наконец с разных сторон зажженный город вспыхнул, и черный дым пожара, сливаясь с белым пушечным дымом, повис над Тарками, как громовая туча, сквозь которую молниями сверкали выстрелы с крепости, действующей в сторону против обратившихся к городу мятежников, встреченных вылазкою. Картина была вместе прелестная и ужасная; каково ж было самое дело?.. Одно только смелое или счастливое соображение генерала, одна только беспримерная храбрость куриновцев могли восторжествовать над столькими препонами и столькими врагами; все, начиная от штаб-офицера до последнего мусульманского стрелка, сражались наперерыв друг перед другом; раненые дрались как львы; некоторые офицеры, получив три раны, не покидали боя; один фельдфебель врезался в толпу панцерников, повалил двоих и, не бросив ружья, получил три ружейные и четыре сабельные раны. Лекарь, спасая жизнь

раненых, кои могли истечь кровью, перевязывал их под градом пуль, так, что он удивился, кончив над одним операцию, когда заметил, что пациент его убит. Артиллерийский офицер, сильно оконтуженный, так хладнокровно наводил орудие под ружейными выстрелами, как на домашнем ученье. Самое орудие сохранило знаки отваги: лафет его испещрен пулями, а мушка и диоптр сбиты; одним словом, Куринский полк в Тарках создал себе новую славу и умножил ею старую славу русского оружия.

Солнце скрылось, но битва еще кипела; главные силы врагов бежали, но еще три знамени веяли на крепком доме, в коем, как сказывают, сидел сам Кази-мулла с сотнею своих отборнейших воинов, воспламенив их храбрость фанатизмом. Генерал, щадя жизнь усталых солдат и зная опасность сражаться ночью, приказал ударить отбой. Мило было смотреть, как солдаты наши шли из битвы с ружьями, почерневшими от стрельбы, штыками, обрызганными кровью, и с опаленными усами. Гордо поглядывали они назад, где еще оставалось небольшое число неприятелей. Мусульмане возвращались, похваляясь добычным оружием; в трофеи нам досталось двадцать значков и три почетных знамени. Окружив цепью город, мы после двенадцатичасового сражения отдохнули на берегу моря при потухающем зареве пожара. Стоны и ропот слышались в городе.

Утро 30 мая открыло нам ужасную картину истребления, и мы, предводимые генералом, пошли к крепости сквозь развалины Тарков. Это была могила: дома курились, и во многих лежали обгорелые трупы горцев, которые погибли в пламени. Улицы были непроезжимы от убитых: в саклях и завалах они лежали грядями (их насчитали до тысячи пятисот). Везде виделись следы разрушения, нанесенного чугуном, следы убийства свинцом и железом. Достойная казнь измены! Но сердце отдохнуло от этих ужасов, когда мы обняли спасенных братии своих. Надобно было видеть, с каким чувством благодарности приветствовали они избавителя своего, достойного нашего генерала! С какою радостью встречали нас, которых отчаялись видеть! Все взоры, все сердца летели к небу, и очи всех сверкали слезами умиления, когда громкое «ура» потрясло скалы Кавказа.

Селение Губдень, авг<уст> 25, 1831.

...Ты спрашиваешь, не отдыхаем ли мы на лаврах после тарковской победы? Нет, милый! Горные лавры имеют шипы, как ваши розы, и пули здесь столь же обыкновенная ягода, как миндаль. Мы потчевали еще раз войска Кази-моллы 19 июня и теперь делаем чувствительное путешествие в горы, поколачивая мятежников при каждой встрече, и производя в их гнездах карантинную окурку порохом, и разбивая их по камешку для проветривания. Для образчика опишу тебе последнее дело: оно замечательно своею оригинальностью.

22 августа, то есть в самый день коронации государя императора, приблизились мы к селению Казанищи, которое давно уже заслуживало казнь за многократную измену русским и ревностное содействие изуверским приверженцам лжепророка Кази-моллы. Мы уже заранее через лазутчиков узнали, что жители вывезли своих жен и имущество в неприступные горы; но часть их, подкрепленная отрядом других дагестанских мятежников, решилась дать отпор в селении. Кто не был в горах Кавказских, тот не может вообразить, сколько выгод дает усеянное скалами и оврагами местоположение, равно как неправильная постройка татарская, засеvшему там неприятелю. Каждый сад с своими рвами и плетнями, каждое кладбище с своими стоячими надгробными плитами представляют тысячи средств драться шаг за шагом и отступать всегда под прикрытием. Но что неприступно для русских, для закавказцев? Царские пистолеты⁵¹ грянули... несколько гранат возвестили в Казанищах о нашем прибытии, и вмиг удалые стрелки окинули цепью северный вход. Перестрелка закипела. Барабаны и потом «ура» за «ура» отда-

⁵¹ Падишах тапенджи – так называют татары *пушки*.

вались все далее, и наконец апшеронцы, которые были, на очереди, ворвались в селение, – и пошла потеха.

Сражение продолжалось несколько часов. Генерал Коханов, распоряжаясь как опытный вождь, подвергал себя опасностям как рядовой, и ободренные его храбростью солдаты выбивали неприятеля из завалов, опрокидывали из дома в дом; Казанищи запылали со всех концов. Лезгины, видя, что им не удержаться, пошли на уход в горы... Селение было очищено, дело кончилось, и только лишь крайняя цепь стрелков изредка перепаливалась с неприятелем, ползущим по кустарнику. Был час обеда, и генерал наш пригласил штаб свой и <оспод> офицеров, возвратившихся из сражения, пообедать налегке. Можешь судить, как все были веселы и одушевлены! С холма, у ног которого разлегалось селение, открывался нам прелестнейший вид; движение войск, перестрелка и вдали бегущий неприятель, вслед которого гарцевали наши донцы и мусульманские всадники, оживляли его. Но всего более восхищало нас, что в тот день, в который радостная Россия возложила венок Мономаха на голову достойнейшего из царей, победа свила новый венок на его оружие! Когда мы высоко подняли шампанским напеченные бокалы за здоровье его императорского величества, неприятель, который доселе крылся в камнях и кустарниках, побежал по противоположному скату, и, по приказанию генерала, заздравный салют разразился между них гранатами, между тем как победное «ура» отвечало хором на наше душевное многолетие! Такие минуты, друг мой, заставляют забывать все труды, все опасности и все болезни здешнего климата!

Вечер на кавказских водах в 1824 году

Посвящается Николаю Ивановичу Гречу

*Зачем от нас могил ужасный клад
Видения и страхи сторожат?*

– Вот Эльбрус, – сказал мне казак-извозчик, указывая плетью налево, когда приближался я к Кисловодску; и в самом деле, Кавказ, дотоле задернутый завесою туманов, открылся передо мною во всей дикой красоте, в грозном своем величии.

Сначала трудно было распознать снега его с грядою белых облаков, на нем лежащих; но вдруг дунул ветер – тучи сдвинулись, склублились и полетели, расторгаясь о зубчатые верхи. Солнце западало. Розовый, неизъяснимо прелестный румянец таял на голубоватых и словно прозрачных льдах горного гребня, и мимолетные пары, расцвеченные всеми отливами радуги, оживляя их игрою теней, придавали еще более очаровательности картине. Я не мог наглядеться, не мог налюбоваться Кавказом; я душой понял тогда, что горы есть *поэзия природы*. Чувства мои стали чище, думы яснее. Я мог словами поэта сказать тогда:

Там горести, там страсти яд немеет,
Там юностью невянущею веет,
Забвение целительной рукой
На сердце льет уладу и покой;
Душа слита с возвышенной природой,
И дышит грудь бессмертною свободой!

Но заря догорала. Одни за другими гасли вершины гор; только двуглавый Эльборус сиял двумя звездами над океаном туч... наконец и он утонул во мраке. Изредка перепадали крупные капли дождя; ветер вздувал по степи пыльные столбы, и телега моя неслась будто наперегонку с ними.

– Далеко ли? – спросил я извозчика.

– Полверсты, – отвечал он.

В тот же миг сверкнула молния и озарила передо мной новую станицу линейских казаков и дальше дома и домики для приезжих на воды. Спешить мне было не для чего, и я решился провести в Кисловодске день и другой, чтобы удовлетворить любопытству: посмотреть общество и увидаться с знакомыми.

Зоревой барабан гремел и раздавался в окрестности, когда вошел я в залу гостиницы, где за ужиным столом нашел двух добрых моих приятелей. Поменявшись новостями и перебрав по зернышку старину, мне досужнее стало прислушиваться к общему разговору. Ужин кончился, но человек десять романтиков насчет покорности к предписаниям эскулапа не думали покидать стола, и по числу опустошенных бутылок я заключил, что кавказская вода имела для них чудесное свойство – возбуждать жажду к вину.

– Ну что наши московские красавицы? – сказал молодой человек в венгерке, значительно поглядывая на капитана Нижегородского драгунского полка и капитана гвардии, между которыми сидел он. Приятель мой, склонявший мне имена и качества каждого, шепнул, что это матушкин сынок, приехавший сюда из белокаменной лечиться от застоя в карманах.

– Милы, как всегда, – отвечал гвардеец, равнодушно покачиваясь на стуле.

– Скажите – божественны! – с жаром воскликнул усатый драгунский капитан. – Можно ли так сухо говорить о красавицах? Эй, мальчик, – шампанского!

– Позвольте сказать мне по-дружески, любезный капитан, – возразил гвардеец, – вам немудрено восхищаться ими после долгих лет, проведенных на бессменной страже или в перестрелках и наездах. Видя женщин, как луну, только на телескопическом расстоянии, всякий примет первую образованную даму, с которою встретится он лицом к лицу, за идеал совершенства; но причина этому не в ней, а в нем. Вы горите сами и воображаете, что они сияют.

– Тут есть много истины, капитан, но между *много* и *все* – целое море. Я не говорю о кавказских татарках, из которых самая красивейшая, по рабским привычкам своим, достойна только закуривать трубки, ни о грузинках, в которых одна глупость может сравняться с красотой. Черкешенки вовсе иное дело, – да мы осуждены любоваться ими как недоступными вершинами Кавказа и видим их едва ль не реже солнечного затмения. Но я самжил и служил в столицах; видел свет не в подворотню, и образованная женщина хотя здесь для меня и редкость, но никогда не может быть диковинкою.

– Не по хорошу мил, а по милу хорош, – сказал толстый рязанский помещик, улыбаясь, как воображал он, очень лукаво.

– Эта пословица мне не соседка, – отвечал усач. – Я говорю беспристрастно и утверждаю, что на этот раз обе московские красавицы милее здешних петербургских умниц в блузах, с вечными рассказами о погоде да поправками адрес-календаря, милее помещиц в капотах, которые всякого мужчину принимают, кажется, за амбар для складки отчетов о вине, и льне, и ячмене, о садоводстве и скотоводстве, в котором немудрено им успеть, обращаясь часто со своими супругами! Господа! Здоровье двух прекрасных московок!

Видя, что рыцарь разгорячился, собеседники, уважая добрый его нрав, не сочли за благо подстрекать его еще более противоречиями. Все напенили бокалы и выпили в лад.

– Здоровье прекрасных посетительниц Кавказских вод, на берегах Москвы расцветших! – воскликнул нежный сотрудник «Дамского журнала», повторяя по-своему предложенное здоровье.

– Этот же тост, в переводе г. Свирелкина с моего бивачного языка на язык светский, – возразил драгун, – кто не пьет – не товарищ!

(Пьют и чокаются.)

– Между нами, капитан, – сказал ему гвардеец, – белокурая или черноволосая сестра вам более нравится?

– Этот же самый вопрос я делаю самому себе двадцать четыре раза в сутки и до сих пор не добыю у своего сердца толку: оно уверяет, что и утренняя и вечерняя заря прелестны. В полдень, любуясь нежными, небесными глазами и пленительною томностью лица блондинки, я бы готов был влезть в ее соломою оплетенный стакан, чтобы коснуться ее розовых губок и потом растаять в кислой воде; но при свечах или при лунном сиянии пронзительные взоры и пылкий румянец брюнетки зажигают меня как гранату, и я рад кинуться на чеченские шашки, чтобы до нее прорубиться.

– Полноте вздыхать, господин адъютант! Чокнемся лучше да выпьем за здоровье прелестного румянца нашей богини.

Адъютант покраснелся и выпил.

– Именным бы указом запретил красавицам, у которых в лице играет румянец, ездить на воды, – сказал чахоточный прокурор, поправляя в ухе хлопчатую бумагу, – они делают больными здоровых и мешают больным выздоравливать.

– Что так строго, господин прокурор? – возразил артиллерийский ремонтёр обвинителю. – Я уверен, что не любовь, а деловые экстракты причины ваших недугов.

– То есть уксус, который выжимали вы из справок, – прибавил москвич.

– Настоящий *vinaigre de quatre voleurs*!⁵² – надал еще драгунский капитан, недавно проигравший тяжбу и сердитый за то на все канцелярское семя. – Излишнее рвение повредило ваше здоровье...

– Вам бы надобно было довольствоваться только запахом, а вы хотели выпить все до дна, – прибавил гвардеец.

– Господа! – отвечал прокурор, поглядывая то направо, то налево, в нерешимости, рассердиться ему или принять град насмешек за шутку; наконец он рассчитал, что последнее выгоднее. – Господа! – повторил он, – конечно, мне бы следовало довольствоваться одним запахом, но тогда я не имел чести иметь вас высоким примером скромности – вас, которые так счастливы в любви одним гляденьем.

– Bravo! bravo! – воскликнули многие голоса сквозь смех. – Здоровье больной юстиции! И бокалы засверкали донышками.

В это время молодой человек прекрасной наружности, закутанный шалью, который задумчиво сидел против меня и часто с беспокойством поглядывал на часы, встал и подошел к окну. Выразительно было бледное лицо его, и впалые черные очи, казалось, хотели пронзить темноту и дальность.

– Облака заволакивают месяц, – сказал он вслух, но более обращаясь к самому себе, чем к обществу, – ветер воет, и дождь крапает в окна... Как-то будет добраться до дому? Когда вихорь разносит пары, то при блеске лунном порою белеет Эльборус, спящий в лоне туч перед грозю.

– Покойной ему ночи, – сказал сосед мой, отставной полковник. – Ты, господин доктор трансцендентальной философии, наверно не будешь встречать так равнодушно бурю, как он в грозном колпаке своем.

– Конечно нет, любезный дядюшка, – отвечал молодой человек, – потому что я не камень. Кавказу полгоря носить ледяной шлем на гранитном своем черепе, – у него вся адская кухня греет внутренности, и, может статься, природа обложила голову его льдом нарочно для умерения внутренней горячки с землетрясениями; но если бы вздумалось повторить такой опыт надо мною даже и в припадке безумия, – я бы, конечно, отправился в Елисейские поля. Выкупаться в туманах, не только быть промочену дождем, – значит испортить весь курс лечения, а мне, право, не хочется начинать его в третий раз.

Сказав это, молодой человек учтиво поклонился собранию, завернулся в плащ и вышел.

– Вот каковы нынешние молодчики! – сказал полковник, провожая его глазами. – Не понимаю, как можно в двадцать пять лет так нежить себя! Прекрасный малый, а пречудак племянник мой. Порою бегают по целым часам нараспашку или, как угорь, вьется по утренней росе; но когда ему вообразится, что он болен, то чего не накутает на себя для прогулки в самый полдень! Треух на голову, калоши на следки, фланель для поддержания испарений, замшу от сквозного ветра, жилет для приличия, сюртук для красоты, шинель для всякого случая сверху, – а сверх шинели – *всю природу*. Недаром один шутник назвал его египетскою мумиею, набальзамированную романтизмом и испещренною иероглифами странностей, которых не разберет, думаю, ни сам старый черт, не только Шампольон-младший! Простудиться!! Человеку в двадцать пять лет и гренадерских статей простудиться! Я бы заставил его сломать похода два-три зимой, на холодной воде, вприкуску с гнилыми сухарями. Сегодня по пояс в снегу, завтра по колено в грязи и потом, промокши до самого сердца, просушиваться под картечным огнем неприятельским. В цепи или в разъезде вместо отдыха; то преследуя побежденных, то утекая разбитый и, в

⁵² уксус четырех воров (фр.).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.